



Александр БАЛАШОВ

РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ

Дилогия

Александр Дмитриевич Балашов

Роман без героя

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29408598

SelfPub; 2018

Аннотация

Необычайные приключения во времени и историческом пространстве персонажей романа, за судьбой которых следит (и во многом определяет её) некая высшая сила. Произведение написано в реалистическом ключе с элементами фантастики и даже мистики. Но, несмотря на это, всё, о чём поведал автор – ЧИСТАЯ ПРАВДА. И в этом убедится каждый, кто прочёт "РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ". Содержит нецензурную брань.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

170

АЛЕКСАНДР БАЛАШОВ

РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ

Дилогия

Часть I.

ПОГРЕБЕНИЕ ПСА

*«Ты видишь – черный пес по ниве рыщет?
Ты видишь ли: спиральными кругами
Несется он всё ближе, ближе к нам.
Мне кажется, что огненным потоком
Стремятся искры по следам его».*

Иоганн Вольфганг Гете

«Фауст»

Глава 1

ИНСТРУКЦИЯ ГАМБУРГСКОГО ЕПИСКОПА

«Разномыслия» Иосифа Захарова

Я уже позабыл, когда к Пашке приклеилась обидная кличка Шулер... В первом классе? Или раньше?.. Ну, не родил-

ся же он вместе с нею. Доктор Лукич говорил, что он долго в младенчестве, до крещения, вообще человеческого имени не имел. Мать, родившая мальчика, всячески скрывала тайну его рождения и называла его просто – «мой малыш». Но это же не имя человеческое. И даже не прозвище. Так, ласковое обращение.

В 1949 году, когда Пашке не было и года, квартировавший у матери-одиночке одинокий квартирант Фока Лукич Альтшуллер убедил атеистку окрестить болезненного мальчишку. Они отнесли мальчика в слободскую церковь Успения Пресвятой Богородицы. И батюшка его тайно крестил. Слободской священник отец Николай дал малышу имя – Павел. Имя святого Апостола. Так хотели и мать, и бывший партизанский доктор, обрусевший православный немец Альтшуллер, чьи предки прибыли в Россию ещё во времена Ивана Грозного да здесь и задержались на вечные времена. Сегодня территорию, где родились мы с Пашкой, мой отец Клим, мать моя Дарья, где в провинциальном городке Краснослободск, выросшего из большого села Красная Слобода, уже вполне официально называют Аномалией. Правда, добавляют при этом ещё и слово «магнитная». Но это, думается мне, не столь существенно. Аномалия, она и в Африке аномалия. И хотя я не силен в астрономии, но почему-то уверен, что все мы тут, в нашей, так сказать, локальной аномальной зоне родились и живём не под созвездием Псов, а под созвездием Чёрных Псов. Важное для меня уточнение.

Такую поправку поддержал и мой друг, можно сказать, названный брат, которого трудно заподозрить в собачье преданности, по крайней мере с детства и до сего дня он ни разу не предал меня. Зовут его немного странновато для современного уха – Павел Фокич Альтшуллер. Вполне добропорядочный гражданин, ныне заслуженный врач России и уже без пяти минут пенсионер. Самый обыкновенный, не «заслуженный пенсионер» нашей великой страны. Один из... «Это уже симптом для художественной типизации моего образа», – как он выразился, прочитав это моё произведение ещё в рукописи.

А было время, когда, наверное, с созвездия Псов долетело до ушей «компетентных органов» весть о том, что член партии, вдова, ставшая волею судеб матерью-одиночкой, охмурённая религиозной пропагандой слободского доктора Фоки Лукича, окрестила своего маленького сына. Странное дело, думаю я: всего за неделю до Пашкиных крестин, в той же слободской церкви Вера и Клим Захаровы, мои приснопамятные родители, крестили меня. Нарекли Иосифом. Иосиф Климович Захаров. Кажется, звучит... И никакой утечки информации, как сейчас принято говорить, не было. А вот на счёт крещения раба Божьего Павла – настучали «куда надо».

Справедливости ради скажу, что большинство жителей нашего небольшого провинциального городка, названного ещё во времена Ивана IV Красной Слободой, не принадлежало к лагерю воинствующих атеистов и новость эту за но-

вость не приняли – у всех слободчан дети были крещённые. На Аномалии без надежды на Бога – не проживёшь. И секретарь райисполкома, и председатель сельсовета, да и другие аномальные руководители, когда сталкивались с необъяснимым и загадочным (чего в любой аномальной зоне хватает), всегда тайком осеняли себя крестным знаменем. Кое-кто из них носил даже нательный крестик, снимая его только перед походом в слободскую баню.

Но только Пётр Карагодин, насколько я его помню, был не из таких. Поставленный партией над аномальным народом во главу руководства всей жизнью в Краснослободске и его окрестностях, секретарь райкома Григорий Карагодин, которого за глаза называли Гришкой Распутиным, ни в Бога, ни в чёрта не верил. После того, как «компетентные органы» компетентно доложили Гришке о «постыдном факте крещения в вверенном ему районе», он выступил по слободскому радио с разоблачительной речью. Мол, в местечке, которая спокон века называется Красная Слобода, такие вредные пережитки прошлого нужно изводить на корню. Сын героя-партизана Петра Карагодина, бывший комиссар партизанского отряда «Мститель», считал, что Слобода названа Красной, так сказать, «по коммунистическим мотивам». По аналогии с родной Красной армией, что ли... Тут надо уточнить, что красный цвет был любимым цветом власти в нашей аномальной зоне, и все официальные праздники были красными, как и красные транспаранты, красные знамёна, красные носы у де-

монстрантов, несущих красные лозунги у красной трибуны на площади, где стоял памятник красному герою-партизану Григорию Карагодину. Мать Павла, видно, опозорила своим поступком цвет человеческой крови, войны и всех революций, которые произошли на Аномалии.

С матерью маленького Павла так и сделали – под руководством Гришки Распутина, то бишь первого секретаря Краснослободского райкома партии, «извели её на корню». Через месяц после этой радиопередачи бедная женщина, зажав вместе с нательным крестиком сына партбилет в слабом кулачке, умерла «от сердца». Так говорили бабки у водозаборной колонки. А Фока Лукич, квартировавший у наших соседей, усыновил Пашку, круглого сироту, дав ему зачем-то свою нелепую фамилию Альтшуллер, которую, когда мы начали изучать немецкий, я перевёл как *старый ученик*. (Много позже понял, что мудрый Фока Лукич был не старым, а *вечным* учеником, позже вы, надеюсь, поймёте почему).

Слово «красный», как я узнал ещё в младших классах, равнозначно нынешнему слову «красивый». Красная Слобода – значит красивая слобода. Где это? Ну, чтобы было понятнее, дам точные координаты: ехать надо от Москвы (увы, сегодня столица не внешне, а по существу, всё больше становится похожей на нашу ненормальную зону, очень большую, бурлящую, но всё-таки – Аномалию) до Курска, а от него, по старому южному тракту ровно 110 километров строго на северо-запад. И попадёте в самое чрево аномальной зо-

ны Центральной России, там, где ещё до революции геологи нашли богатейшие залежи железной руды. А после установления советской власти на всей территории Аномалии, моей малой родины, доложили партии и правительству, что запасов «синюшки» (руды с богатым содержанием железа) хватит аж лет на сто, а бедной руды и железистого кварцита – лет этак не менее, чем на триста-четырееста.

В детстве, в послевоенной слободе, жили бедно, в семье Захаровых, то бишь в моей семье, частенько не доедали. А на пустой желудок думалось легко, я бы сказал, необременённо. Вот и лезли в голову разномыслия... Так что строгая диета ещё с детских лет – это верный симптом того, что ваш сын (или дочь) станут выдающимися мыслителями. Или не станут. Но думать о жизни будут всегда серьёзно, основательно, зная точно, по чём хлеб в магазине, а по чём фунт лиха.

Как рождается имя человека? Из Космоса прилетает? Из Вечности? Не ясно мне. Раньше хоть по святцам выбирали священники. А вот с кличками всё попроще. Они рождались не сами по себе, а находились в полной зависимости от своего носителя.

Но так только казалось «на заре туманной юности».

Когда у людей не хватает фантазии, то дают клички по фамилии. Это легче легкого и, в общем-то, логично. Ведь фамилии наши когда-то тоже произошли от прозвищ. Вот я – Иосиф Климович Захаров. Значит, в каком-то там колене был у меня предок, которого звали Захаром. Иосифом меня

назвали в честь «отца всех народов» Иосифа Виссарионовича Сталина. Время было такое, послевоенное, позже названное «культом Сталина».

В школе меня редко называли Иосифом. Учителя чаще по фамилии. Сверстники по прозвищу – Захар. Пашка, мой сосед по дому и закадычный друг с самого раннего детства, называл Ёжиком. Имя Иосиф, и правда, в чём-то созвучно слову «ёжик». Ёжик – это ведь не кличка, это характеристика человека. А я ещё тогда напридумывал Пашке в отместку столько кличек, что сегодня, по прошествии многих лет, всех их и не упомяну: Немец, доктор Шуля... Все они подходили к нему. Были, так сказать, симптоматичны. Кроме Шулера.

Я считал, что мне повезло. Захар – это ведь даже не кличка, не прозвище. Это тоже имя. А могли бы прозвать, например, Блохой. За мой малый рост и худобу. Ведь я родился в голодном сорок восьмом. Не в районном роддоме. И даже не в доме – в сырой землянке. Дом мой бедный одорукий отец с дядькой-инвалидом поставили только к концу пятидесят третьего. На месте прежнего, сгоревшего в сорок втором.

Самая несправедливая, «несимптоматичной», как он сам говорил, из всех Пашкиных прозвищ была его кличка Шулер. Родилась она, как я думаю, от его фамилии Альтшуллер. Не улер с двумя буквами «л», от немецкого слова «улер», что означало «ученик», а – Шулер с одной «л». То есть «карточный мошенник» или просто «мошенник». Мошенником Па-

вел не был, а в карты вообще не любил играть. Даже в подкидного дурака.

Мы учились в девятом классе, когда Пашкиного приёмного отца засадили в сумасшедший дом. Злые языки судачили, что известный всей аномальной зоне доктор, лечивший не одно поколение слободчан, с редким русским именем Фока, отчеством Лукич и немецкой фамилией Альтшуллер, съехал с катушек из-за чёрного пса, которого многие видели не только в посаде, пригороде Красной Слободы, но и в самом городе. Как-то заметили его даже у здания райкома партии, где стоял милиционер с наганом в кобуре на кожаном ремне.

Испуганные свидетели утверждали, что ужасная чёрная собака, – противоестественное существо, похожее на человека (руки, ноги, туловище, но шерстяная пёсья башка и чёрный язык, с которого капала кровь) возникало, как приведение, из огромной ямы в земле – заброшенного железорудного карьера. Наш учитель по физике, преподававший в силу дефицита в городе педагогических кадров русский язык и литературу, не верил суевериям и объяснял массовые видения тем, что мы живём в самом центре магнитной Аномалии, которую ещё до революции открыл академик Губкин. А, мол, на Аномалии с людьми всегда ненормальные вещи происходят. Ведь само слово «аномалия» с латыни переводится как «ненормальность».

Однако в том же году, когда Пашкиного приёмного бая, «доктора Лукича», как его звала вся Красная Слобода,

в смирительной рубашке, под конвоем милиции отвезли в Красную Тыру, где находился единственный в области сумасшедший дом, наш мудрый учитель своими глазами видел этого чудовищного чёрного пса. И, как он утверждал, сидя в школьной кочегарке за бутылкой самогона с Кузьмином, подрабатывавшим в холодное время года истопником, пёс этот был говорящим (!). Правда, из-за страха, сковавшего все члены физика и лирика в одном флаконе, он не мог вспомнить, что именно говорил ему пёсо-человек. Только повторял великие слова Вильяма Шекспира, что «на свете есть много такого, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам».

В том, что Фока Лукич «съехал с катушек», я сперва даже не сомневался. Всегда хмурый, не шибко общительный врач-пенсионер, якобы после встречи с легендарной чёрной собакой, которая открыла ему все тайны краснослободского двора, вдруг стал ходить по райкомам, исполкомам, трижды ездил в Красную Тыру и все писал, писал... Требовал, чтобы – язык не поворачивался сказать – раскопали могилу секретаря Краснослободского райкома, героя-партизана Петра Карагодина. Зачем?.. Ну, съехал человек с катушек. Жизнь-то Фоки Лукича не сахар была. А потом, зачем изводил себя писаниной, сидя за «бурдовой тетрадь» днями и ночами напролёт? В России, ещё Грибоедов говорил, горе всегда от ума.

О том, что Фока Лукич Альтшуллер уже не одно десятиле-

тие пишет не то дневник, не то книгу или даже целую «Библию от Фоки» знала вся Слобода. О существовании бордовой тетради (сам доктор в шутку называл её «бурдовой»), конечно же, лучше всех знал Пашка. И, по его словам, он, конечно же, в тайне от автора, читал некоторые страницы «бурдовой тетради», написанные тем ужасным почерком, каким Фока Лукич выписывал всем своим пациентам рецепты на порошки и пилюли. Хорошо помню тот день, когда Пашка поведал мне свистящим шепотом заговорщика:

– Отец на первой странице вчера написал название своей писанины...

Я слушал друга, открыв рот.

– Представляешь, Ёжик, он назвал бурдовую тетрадь «Записками мёртвого пса»...

Я завидовал другу: у него была тайна. У меня никакой тайны не было. А жить без тайны, в любом возрасте, скучно. Потому что, если уже нет у тебя никаких желаний, то остаётся одно – желание поделиться хоть с кем-то своей тайной.

А потом облезлая «скорая помощь», больше похожая на самоходную кутузку, под охраной милиционеров увезла бедного Фоку Лукича в Красную Тыру. Там, на окраине старого города, в желтом оштукатуренном доме с зарешеченными окнами, располагалось страшное в своей закрытости учреждение – психбольница. Пашка жил вдвоем с отцом, по соседству с нами. Наши усадьбы не разделялись даже заборчиком или плетнем. В тот осенний промозглый вечер Пашка

оставался один. Милиционеры оказались добрыми. И нам, еще безусым пацанам, разрешили сопровождать бедного Лукича до сумасшедшего дома. Я не мог бросить друга и поехал с ним, стараясь не смотреть в горестные глаза Пашкиного отца.

Мы зашли в гулкий «приемный покой» больницы, больше похожий на заплыванный вокзал станции Дрюгино, которая была у Слободы под боком. И смиренно сели на деревянный диванчик.

Серьезный мужчина в черном драповом пальто поверх халата писал кую-то бумагу. Между делом он равнодушным треснутым голосом спрашивал Пашку:

– Больной Альтшуллер Фока Лукич – твой отец?

– Мой...

– Бывший главный врач Краснослободской сельской больницы?

– Почему – бывший? Настоящий...

– У нас тут все, – сказал принимающий, впервые подняв глаза на Пашку, – настоящие. Даже наполеоны...

Он засмеялся своей шутке. И пальто соскользнуло с его косых плеч на пол. Мужик в пальто чертыхнулся и строго спросил:

– Симптомы?

– Как, как?.. – не понял Павел.

Мужчина почти с ненавистью посмотрел на Павла.

– Я спрашиваю о характерных проявлениях, признаках

болезни твоего папаши! Понял, парень?

Пашка молчал.

– Нет у него никаких ваших симптомов! – за своего друга с обидой в голосе выпалил я.

– А ты – кто? – поинтересовался врач в пальто.

– Сосед! – с пафосной интонацией, будто представлялся близким родственником секретаря обкома, сказал я.

– А ты, «сусед», – он специально искажил слово, чтобы пообиднее передразнить меня, – вообще молчи в тряпочку. А то посажу в палату для Павликов Морозовых.

Таких «откровений» от врача государственного лечебного учреждения я никак не ожидал. И потому благоразумно замолчал в тряпочку. Но «псих», как я про себя назвал этого врача, вдруг сменил настроение и фальшиво спел:

– В нашем доме появился замечательный сосед. Пам-пам...

И рассмеялся.

Мне стало страшно.

Пришли два дюжих санитаря, одетых в грязные халаты без пуговиц – с завязками сзади. (Как они их завязывали?). Взяли напряженно молчавшего Фоку Лукича под трясущиеся руки. Это молчание, как мне казалось, вот-вот разорвет на кусочки нашего доброго слободского доктора.

– Отец!.. – закричал Пашка.

Он подбежал к старику, упал перед на колени, обнял отцовские ноги. Санитар, как котенка, откинул худого Пашку

в угол.

Фока Лукич обернулся, с мольбой посмотрел почему-то на меня:

– Только не детский дом, сынок!.. Ты к Захаровым иди... Я с бабушкой Иосифа, Дарьей Васильевной, обо всем договорился заранее. Захаровы тебя примут, а меня скоро выпишут...

– Примут и тут же выпишут... – чему-то улыбаясь, кивал мужик в драпе. – Вы, Фока Лукич, главное не волнуйтесь... В вашем теперешнем положении это смерти подобно.

Пашка три года жил у нас в семье. (Пока отца не отпустили, слово «вылечили» он никогда не употреблял.). Его раскладушка стояла рядом со старой железной кроватью в моей комнате. Из мебели – стол у окна, этажерка с книгами, три стула и деревянный диванчик с резной спинкой. Всё, начиная от самого сруба, «Захаровской крепички», как говорил мой батя, и до стульев, было сделано левой рукой Клима Ивановича, отца моего.левой – не значит «абы как». Правой руки у отца не было – пустой рукав заткнут под ремень. Но далеко не каждый и правой так мог работать плотницким топориком, как отец одной левой. «Леворукий, – повторял батя, – это вам, ребята, не косорукий. Понимать надо».

Изредка Паша бегал в свой пустой дом. Благо, что по соседству. Мне говорил, что «проверяет хозяйство». Я подозревал: ищет спрятанную Фокой Лукичом «бурдовую тетрадь», свою священную семейную тайну... Я знал, что на хо-

зьяйство Пашке было наплевать. А вот зачем копать на пустом огороде? Даже в погребе и амбаре ямок накопал... Суший крот.

Наша Слобода не славилась милосердной памятью. Первое время о сумасшедшем докторе зло судачили у колодцев и водопроводной колонки, поставленной в посаде в годы первых послевоенных пятилеток. Поболтали еще на свежую для разговора тему, кости помыли партизанскому доктору, удивляясь его странному требованию от властей – раскопать могилу Григория Петровича Карагодина, которого Слобода с великими почестями торжественно похоронила еще в марте в марте 53-го. Что за блажь вошла в больную голову старого лекаря?.. Одному, наверное, Господу Богу и было известно.

Потом тема иссякла. Про Фоку Лукича стали забывать. А Пашку поначалу жалели. Как и положенного «круглого» сиротинушку. Но то-то и оно, что был он не «круглый». Отец-то был жив. Подлечится – и вернется к сыну. А так ему и у Захаровых неплохо: и одет не хуже других ребят, и, чай, не голодный.

Так чего и кого жалеть, если не жалко?..

Начиная с девятого класса, я уже, можно сказать, бредил историей. И виной тому была тетрадь доктора Альтшуллера. Вся история его жизни. Жизни слободчан. История наших детских и взрослых болезней. «История победной эйфории и припадков общественной истерии», как говорил Паша.

Это потом я полностью разделил его мысль, что история жизни – это все та же история болезни. Только записанная медицинскими терминами. Я даже разочаровался, когда Пашка впервые показал мне эту «запретную бурдовую тетрадь». Так, большая общая тетрадь в бордовой коленкоровой обложке, похожая на амбарную книгу. Открыл первую страницу. Фиолетовыми чернилами намазюкано неаккуратной рукой: «Записки мёртвого пса». Вспомнились Гоголевские «Записки сумасшедшего». Как у Гоголя. Только кому, тогда думал я, нужны эти обрывочные мысли о жизни, о гипнозе и прочих медицинских экспериментах, фрагменты историй болезни его пациентов, куски начатых и недоведенных до конца доктором каких-то рассказов или даже романов, рецептов, как выздороветь не только человеку, но и целой стране?..

В шестьдесят седьмом, в своем доме, что до сих пор стоит по соседству с моим, в своей постели тихо и незаметно для всей Слободы умер первый в истории нашего не то большого села, не то захолустного городка («серединка-наполовинку», как говорил Паша) доктор. «Бедный Лукич, – жалел я старика-соседа, – он так и не оправился от своей болезни: до последнего вздоха бегал по райкомам, исполкомам – требовал какой-то непонятной всем «эксгумации». И так, увы, бывает на закате жизни: не живет – бредит человек.

«Тайну семьи Альтшуллеров» Пашка показал только своим самым верным друзьям – мне и Маруси. Сказал, что это

рукописная книга – запрещенная. И Моргуша тут же выдала ахматовские строчки, «со значением» поглядывая то на Шулера, то на меня:

– Я была одной запретной книжкой,
К ней ты черной страстью был палим.

Я только пожал плечами: мол, просто амбарная книга, исписанная неразборчивым докторским почерком. Что тут вообще может быть таинственного, а тем более – запретного? Это не ускользнуло от моего «сводного брата Павла.

– Рано тебе запрещенное «Евангелие от Фоки» читать, – как всегда, с подковыркой, сказал он. – Во-первых, поумнеть тебе, Захар, надо. Во-вторых, опасно. В-третьих...

– Что «в-третьих», Шулер? – обиделся я.

– В-третьих, считай, что ее уже нет. Я её как бы сожгу, а когда придет время, половину отдам тебе, а вторую половину возьму себе... На память.

Я с опаской посмотрел на своего друга, опасаясь: уж не заразился ли и он этой странной болезнью от своего бедного отца?

– Как это – «сожгу»... Как же мы её тогда «потом» поделим?

– Для конспирации. Читай журнал «Москва». Сделать это все равно невозможно. Булгаков утверждает, что рукописи не горят...

– Клинопись на глиняных дощечках? – не понял я.

– Просто – рукописи. Даже такие «бурдовые», как эта тетрадка...

– Ну, и Шулер ты, Пашка! – сказал я тогда Не зря все-таки тебя такой кличкой наградили.

Но я-то, как никто другой в Слободе, знал: ну, какой из него шулер? После отправки его отца в сумасшедший дом, что очень навредило Пашке на всю оставшуюся жизнь, он целую зиму и весну был молчалив и угрюм. И чтобы хоть как-то смягчить удар судьбы я, азартный картежник дядя Федя, отцов брат, мама и мой батя – вся моя тогда еще живая родня – пытались растормошить Павла к жизни. Вечерами мы все вместе играли в «подкидного» или в «переводного» «дурочка». Он всегда отказывался от карт. Тогда мама брала мешочек с бочонками, раздавала нам карточки лото. Потом, шумно перемешивая деревянные фишки в черном сатиновом мешочке, с каким-то вызовом выкрикивала:

– Топорики! Барабанные палочки!..

– Простите, Вера Павловна, – извинялся он перед мамой. – А можно и в лото без меня?.. Я, с вашего позволения, почитаю. Из читального зала журнал дали только на одну ночь...

Ну какой он после этого – шулер? Ни куража, ни азарта, ни элементарного обмана.

Я уже тогда готов был отдать руку на отсечение – с такими, «чисто курскими», курносыми носами шулеров вообще

не бывает... Еще живая тогда моя бабушка Дарья, глядя на Пашу, только качала головой: «Не пойму я, Пашутка, и на кого ты похож?.. Что не на Лукича – это точно». – «В проезжего молодца, баба Дарья, я, – улыбался Пашка. – Я на маму похож. Она, отец мне рассказывал, была красавицей, кубанской казачкой»... – «Да-да, – кивала бабушка, с велосипедной скоростью крутя в руках вечные спицы.– Знавала я казачку Надю. Лукич ей в отцы годился, но любовь зла. А как тебя-то она любила! Души в тебе не чаяла. Рано овдовела... Спасибо Лукичу, кончено. Он ведь тебе, Паша, и мать, и отца заменил».

Я не физиономист. Сейчас, когда жизнь побила, потрепала, как пеньку и в слезах вымочила да высушила, понимаю, что форма частенько не соответствует содержанию.

Но тогда я был уверен: лицо, как и прозвище человека, – это, так сказать, симптом, характерный признак будущей судьбы. Как и уши.

Вот у меня уши похожи на два унылых лопуха. И я с детства точно знал, что большого человека из меня не получится никогда. Ну, где вы видели лопухого лауреата Нобелевской премии?

Мои уши – это симптом. И этот симптом прямо указывал мне дорогу в пединститут. Пашка говорил:

– Ума нет – иди в пед. Стыда нет – иди в мед. Ни того, ни другого – иди в политех. И помни, брат Иосиф, ничто так не объединяет людей, как общий диагноз. Даже пролета-

рии всех стран не могут объединиться так, как маленький, но сплоченный коллектив лепрозория. Угадай свой диагноз – попадешь в яблочко жизни.

И я пошел (точнее – поехал) в пед. Потому что, наверное, ума еще было маловато, к тому же учитель, по моему мнению, может быть с любыми ушами. И с любым прозвищем, которое, как и все имена рождаются не на земле, а где-то в космосе. Там, где лукаво перемигиваются сине-зеленые огоньки созвездия Большого Пса и Пса Малого...

Я пораскинул мозгами и решил, что мои развесистые уши нисколько не помешают мне стать историком. И, отслужив в армии, где мой симптом все-таки не позволил мне даже к долгожданному дембелю подняться выше непочетного войскового звания «ефрейтор» (что в переводе все-таки означает – «старший солдат»), я поехал в далекий город поступать в педагогический.

В приемной комиссии седовласая женщина в мужском, как мне показалось, пиджаке с орденскими планками на груди (видимо, вместо броши), глядя на мои уши, спросила баритоном:

– Откуда ты, прелестное создание?

– Из Красной Слободы...

Мужеподобная женщина сняла круглые очки в проволочной (это не метафора) оправе и почему-то очень удивилась. Думаю, её удивление, наверное, было бы меньше, если бы я сказал: «Сошел с Берега Слоновой Кости».

– Из Слободы? Это что под Красной Тырой?.. М-да... Как говорили древние, «ниль адмирари» – ничему не следует удивляться.

– Да, из Слободы. Недавно ее переименовали в город Краснослободск! – с вызовом и интонациями спустившегося в долину дикого горца бросил я председателю комиссии. – Между прочим, слобода в России, до отмены крепостного права, – это большое село с не крепостным населением, а также торговый или ремесленный поселок. До 17 века поселение освобождалось даже от княжеских повинностей...

– Стоп, машина! – скомандовала тетка, как капитан корабля – Уже вижу, как на моих глазах учитель истории умирает... В тебе.

Она достала пачку «Беломор-канала», зажгла папиросу бензиновой зажигалкой с ребристым колесиком (скорее всего, времен первой мировой войны), подвинула к себе массивную пепельницу, полную жеваных окурков, и, что-то пометила в журнале.

– На истфак! – скомандовала она. – И не обижайся. Это ведь я так, пошутила... По-солдатски, по-фронтовому. Слобода твоя пока одним знаменита. Её царь в свое время гетману Мазепе подарил. Ну, тому самому, Иуде-Мазепе. Потом, разумеется, отобрал... Населения – с гулькин нос. Промышленность – местная: маслобойня да мухобойня, как я говорю... Но первыми в губернии колхоз образовали, первыми партизанский отряд создали, первыми памятник пав-

шим партизанам на собранные народом деньги поставили... Для историка – обширное поле. Как говорят археологи, есть, где покопаться.

И представилась, протянув мне крепкую жилистую руку: – Роза Сидоровна Феокистова, декан исторического факультета. Так что на истфак, солдатик! Гони, солдат, документы!

Будучи всего ефрейтором, то есть старшим солдатом, я не посмел послушаться команды председателя приемной комиссии.

Она взяла мой пакет с документами и потрясла его над столом так, будто хотела всю душу из меня вытрясти, узнать подноготную.

– Так, аттестат сойдет, анкета вполне... – попыхивая уже новой папиросой, говорил председатель, – не был, не состоял... Справка с последнего места работы, районного партархива, это оч-чень хорошо... Так... А где характеристика?

– В архиве я всего месяц проработал, после армии... Ко мне, к заявлению то есть, армейская приложена. Смотрите дальше...

– Смотрим дальше... Так, ага, вот и она. Так... Ага... Угу... – читала она, одобрительно кивая. – Отличник боевой и политической, морально устойчив, член, член... Хорошо! Редактор «На боевом посту»... Здорово! Всё. Считай, солдат, ты принят.

– Спасибо, конечно, – с почтением поклонился я. – А как

же экзамены?

– Это уже вторично, – кивнула она. – Главное, мне как историку подходит твоя история жизни. Биография важнее самого человека.

Я отошел от стола приемной комиссии, но Роза Сидорова на меня остановила и, по-матерински глядя на меня (чем-то я этой тётке явно приглянулся), посоветовала:

– Все-таки, солдатик, на всякий случай, доклад о культуре личности повтори... На культуре и на решениях последнего исторического партсъезда валят вашего брата.

– Я могу рассказать об истории Красной Слободы. Наш городок существует со времени Ивана IV, по прозвищу Грузный.

– Это лишнее.

– А что не лишнее?

– Решения съезда. Вот их ты, как поп «Отче наш» должен знать на зубок.

Доклада партийного я в глаза не видел, про историю партии, как говорил поэт, «ни при какой погоде не читал».

– А где «всё это» взять? – обернулся я к Розе Сидоровне.

– Эх, слобода ты моя, слабота... – покачала она седой головой. – В учебнике не ищи! Учебник, по которому ты учил историю в школе, уже переписан. Под новой редакцией вышел... Сходи в читальный зал. Там тебе и новый учебник, и все исторические съезды отдельной брошюрой выдадут.

– Обязательно схожу! – пообещал я.

Мне, тогда глубокому провинциалу и новоиспечённому абитуриенту, было невдомёк, что вот так, запросто, в угоду новой власти перекраивается и история моей малой родины – Аномалии. Один из кусочков большой истории России. Но даже кусочком подлинной истории, понимал я, вчерашний школяр, надо очень и очень дорожить.

... Через четыре года я вернулся в Краснослободск, как переименовали нашу Красную Слободу, придав ей статус города. Вдали от Аномалии мне казалось, что вот теперь моя малая родина рванёт и возьмёт своё у седых патриархальных веков, ведь по непреложному закону все должно течь и изменяться. Но оказалось, что и этот неписанный закон на Аномалии не работал: всё текло, но ничего не менялось. Как была она Слободой, возникшей ещё во времена Ивана Грозного, больше похожей на огромное село, чем на маленький городок, так Слободой и осталась. Населённым пунктом с обидным прозвищем – «смычка между селом и городом». Что, на мой взгляд, было хуже – не село уже тебе, но ещё и не город.

Это тоже был симптом времени. Исторический симптом. Который я просто «констатировал» (Пашка всегда это слова писал через «Н», наверное, думая, что русские позаимствовали его у турок из КонстаНтинополя). Тогда я не склонен был к обобщениям, понимая высказывание одного классика по-своему «Прошлое оплачено, настоящее ускользает, будь-

те в будущем» так: настоящее – ничто, будущее – всё, а прошлое... оно и есть прошлое, то есть прошедшее. Чего о нём много говорить?

Все лучшие мысли в наших наивных школьных сочинениях, начиная с младших классов средней школы, были в основном о «светлом будущем». Шулер Пашка склонялся к прошлому и настоящему. Иногда даже опасно «обобщал». И это нашим педагогам категорически не нравилось. «У нас есть отдельные недостатки, – учил нас наш любимый учитель истории (он же директор Слободской школы) Тарас Ефремович Шумилов, – но зачем обобщать? Мы с вами не сумасшедшие Гоголи какие-то, а граждане советской страны».

Тогда, десятом классе, я с ним поспорил, доказывая, что коллективизация тоже было своеобразным «обобществлением» молодым советским государством русского крестьянства, которое постепенно и привело к полному вымиранию крестьянства как мелкобуржуазного класса. За эту теорию «обобществлённого русского крестьянства» Тарас мне вlepил в дневник жирную двойку с минусом. Причём минус был такой длинный, что ужасно обезобразил всю страницу, которую я потом аккуратно удалил с печальными последствиями для самого себя.

– Страхуется, – сказал Пашка, откровенно любяя художествами Тараса. – Смелые открытия и свежие воззрения косной общественностью всегда сначала принимаются как записки сумасшедшего... Так что смириь, старик! Время

рассудит вас с Тарасом.

Время не рассудило. Директора школы к моему возвращению в Красную Слободу, разбил инсульт. Он потерял память, плохо говорил и по инвалидности вышел на пенсию.

Последний раз я видел Тараса Ефремовича в нашей слободской больнице, где перед началом нового учебного года я проходил медкомиссию. Я был горд, что стал учителем истории. Учить пацанов и девчат своей истории, думал я. Что может быть благороднее и нужнее для будущего гражданина? Можно не знать таблицу умножения – и это не станет жизненной трагедией. Но не знать своих корней, стать Иваном, не знающим родства. Выродком, другими словами.

Пашка после окончания медицинского института тоже вернулся на Аномалию, в Красную Слободу, простите – в Краснослободск. В ту же самую больницу, где когда-то работал его отец. Он думал, что я забыл про «Записки мёртвого пса». А я помнил.

– Когда подаришь «бурдовую тетрадь»? – напомнил я другу. – Я закончил институт с красным дипломом. Хочу написать историю нашего городка, проследить судьбы поколений, ну, и вообще интересно как историку...

Этот аргумент, видимо, не убедил его.

– Очередная сага о Форсайтах, – съязвил он.

– Я не шучу. Ты же обещал...

– Дам, дам, но только когда постигнешь диалектику «Чёрного пса».

– Что это за ересь? – деланно засмеялся я. – У собак нет никакой диалектики.

– А вот наш физик, помнишь, эту диалектику знал, – ответил Пашка. – Жаль, что залечили его до смерти в сумасшедшем доме. Но, говорят, умер с покаянием на губах. А вот некоторые новоиспечённые историки, ее не понимают...

– Историки мифами и легендами не занимаются. Это ближе филологам.

– А это не легенда, – серьёзно ответил он. – Это сущая правда. Реальность нашей Аномалии.

– Можно поконкретнее?

– Начнём чуточку издалека, – начал Павел. – Ты согласен, что на каждый электрон с положительным зарядом есть электрон с отрицательным зарядом, у каждого протона есть антипротон, если есть материя, то обязательно должна быть антиматерия.

– Ну, согласен...

– Так и любая человеческая история, то есть жизнь наша, – это палка о двух концах. Если на одном конце Добро, то на другом обязательно Зло. Бог и Дьявол. Всё в вечной борьбе, в вечном антагонизме и в великом единстве. Значит, если бы не было зла, не было бы и добра...

Я скептически усмехнулся:

– Чушь, а не теория «Чёрного пса»... «Дьяволу служить или же Богу – каждый выбирает по себе». . Дай лучше «Записки» Лукича почитать...

Но он меня не слышал.

– Победа и поражение...

– Что, победа и поражение? Палка о двух концах?

– Эх, Ёжик, Ёжик, без головы и ножек. Значит, ты еще не ощущал в сладости победы обязательной горчинки поражения. Ну, ничего. Придёт время, и чёрный пёс всё поставит на место.

– Простите, будущий Гиппократ, это вы о чём?

– Бог простит. А вот пёс – вряд ли.

– Ну, не будь тем, чем ворота подпирают. Дай почитать «Записки».

– Учитель, перед именем твоим позволь не преклонять мои колени.

– Хватит жмотиться. Фока Лукич, будь он жив, тебя б благословил...

Подслушай тогда нас, молодых специалистов, дипломированных врача и учителя, хоть кто-нибудь, точно бы решил для себя – это разговор двух сумасшедших. Но такими мы были всегда. Такими мы и остались. Потому что времена, конечно, меняются. Но не меняется наша сущность.

А Пашку я тогда уговорил сделать моим дорогим аппаратом «Зоркий 4С» фотокопии «Библии от Фоки». Хотя бы нескольких первых страничек. Я продолжал верить, что в этой «бурдовой тетради» Лукича кроется великая тайна и великая правда. И когда эта великая правда будет мне из-

вестна, я смогу снять проклятие Аномалии, которое, по моему глубокому убеждению, и не давало Красной Слободе, а ныне Краснослободску, стать городом любви, процветания и благоденствия.

Ещё в десятом классе, когда Немец (это одна из кличек Пашки Альтшуллера) пообещал мне подарить «Библию от Фоки», у меня в душе затеплился огонек надежды: придет время – и я открою тайну проклятия Красногорска! Все тайны мира для того и существуют, чтобы их открывали. Пусть не сразу. Пусть через десятилетия. Но – открывали.

Позже ко мне пришла идея, отталкиваясь от фактов, приведённых доктором Лукичом в «Записках мёртвого пса», самому написать историю Аномалии и Красной Слободы, сагу о семьях Захаровых и Карагодиных. Я завёл отдельную тетрадь, которую назвал «РАЗНОМЫСЛИИ». Это не была краеведческая работа в традиционном понимании самого жанра литературного краеведения. Просто я, Иосиф Захаров по прозвищу Захар, оживил в тетради ту правду, которой заразился и выстрадал её до конца бедный Фока Лукич.

Наверное, это был тоже «синдром пса». Как сейчас понимаю, я примеривал древний кафтан летописца, острил свое гусиное перо, окунаясь в *tempri passati*¹ «и вином не магазинным в прошлом веке душу грел»...

Я чувствовал, что заразился от «Записок мёртвого пса» редкой и неизлечимой болезнью. Это было – предчувствие

¹ Прошедшие времена (итал).

судьбы. Предтеча страшного откровения. Почти библейского Апокалипсиса². Постигание не то будущей победы, не то будущей моей беды. Хотя, как я сейчас понимаю, эти две подруги порознь никогда не ходят.

Пашка не обманул. Уже тогда, в первый год моего учительства в Слободе, он подарил мне несколько страничек из секретной «бурдовой тетради» сумасшедшего летописца (так многие думали) нашей Аномалии. Они, эти странички, переснятые фотоаппаратом с насадками, до сих пор хранятся в моем писательском архиве.

На титульном листе – название труда всей жизни слободского лекаря было густо замазано чернилами. Потом шло следующее, старательно, я бы сказал, с любовью, выведенное автором, а не нацарапанное торопливым корявым почерком провинциального доктора:

«ЗАПИСКИ МЁРТВОГО ПСА»

Остальное приходилось расшифровывать, по-другому и не скажешь. Работа нудная, кропотливая – каждый из нас знает, что такое почерк врача.

² Апокалипсис – (от гр. apokalupsis, букв. откровение; часть Библии, одна из книг «Нового завета», содержащие мистические рассказы о судьбах мира и человека, пророчества «о конце света».

«Начато мною, Фокой Лукичом Альтишуллером, 5 сентября 1921 года, в день моего приезда в Красную Слободу. Разрешаю прочесть и обнародовать только после моей смерти. Поэтому не удивляйся, читатель, что сегодня я снова открыл титульный лист и уже на смертном одре не послушной мне рукой вывел вымученное бессонными ночами название моему повествованию: «Записки мёртвого пса».

Если наберешься терпения и дочитаешь до конца, ты поймешь, почему я так назвал свои лекарские наброски. Мне казалось, что Правдой своей я задушу пса на его же цепи.

Но мне это только казалось. Пёс оказался сильнее меня, возможно, он вообще бессмертен. Он способен возрождаться из небытия, восстать из огня, из пепла, возвращаться к живым из самой преисподней. И некоторые страницы этих записок начертаны в невыносимой борьбе с его когтистой лапой. Так что будь осмотрителен. Он разбередит любую душу, успокоившуюся после давнишнего преступления. Даже у мертвого пса, восставшего из могилы, – страшная энергия неведомых нам потусторонних сил Аномалии. Огненные искры чёрного пса, вылетающие из его глаз, убьют твоё спокойствие, не даст дожить тебе в мире с самим собой. Он воскрешает в памяти всё, что человек старается забыть и стереть из неё, за что он сам себя судит Страшным Судом своей совести.

Единственное спасение от чёрного пса, как учил старец Амвросий, это покаяние. Но не всякому покаянию он верит.

Если оно неискренне, то будет грызть твою душу, пока не утащит тебя в свою огромную яму, что в южной части железного карьера нашей Аномалии, где и прикончит.

Я поведу тебя, читатель, по лабиринту противоречий, так как я, старьй врач, знающий симптомы страшной болезни и почти докопавшийся до причин её возникновения, признаюсь тебе: пёс одолел и меня. Тебе, живущему после меня, я предоставляю полное право резюмировать, согласовывать мои заметки с твоим сердцем и разумом, чтобы вывести из моих личных мнений общее суждение о прошлом. Без этого знания ты не сможешь заглянуть в будущее.

Сейчас, когда ты читаешь эти строки из «Записок мёртвого пса», я уже нахожусь по другую сторону светлого мира. И прошу только об одном: не суди меня, уже мёртвого пса, по зыбким и изменчивым законам новой жизни. Суди с позиций человека. Любому человеку свойственно ошибаться. Ведь каждый из нас, грешных, не раз за свою жизнь переступал незримую нравственную черту внутреннего закона, данном нам Создателем. Человеку свойственно оправдывать самого себя и свои деяния, пусть и самые неблагоприятные. Но каждый шаг, если это шаг к преступлению, не ускользает от чёрного пса, его всевидящего звериного ока. Он фиксирует его, запоминает, суммирует, готовя бессмертную душу нашу к ответу. Сперва перед самим собой, а потом уже на Страшном Суде – перед Богом.

Из меня, слава Богу, получился плохой судия. Путеше-

ствую по кругам ада нашей Аномалии, я так и остался «свободским лекарем», а не мудрым летописцем. Тем самым знахарем, который, замечая симптомы, не видит главного – причины болезни, путает причины со следствием. Да я – доктор, и хорошо знаю, что «синдром пса» – болезнь в высшей степени заразная. И опасная. Это, разумеется, зло для умиротворённого, довольного собой человека. Но зло – необходимое.

Надеюсь, что ты меня поймёшь. Именно это я постарался передать тебе в своих неумелых литературных опу-сах, которые ты, наряду с моими профессиональными за-метами, размышлениями, думами о былом найдешь в этой тетради.

Я не писатель и никогда не стремился развлекать благо-родную публику словесами. Писатель, не мыслящий себя от публичного прочтения и писательской славы, – не свободен. Я, не писатель, я врач и потому свободен в выражении сво-их суждений и мнений, свободен для Правды, которую завещаю моему единственному сыну Павлу донести до потом-ков только через тридцать пять лет после моей смерти, которая уже давно поджидает меня у логова чёрного пса. Надеюсь, что через 35 лет эта тетрадь уже не будет столь опасна и не навредят моему сыну и всем, кто соприкоснет-ся с «Записками мёртвого пса». Если же я ошибаюсь, тогда моя последняя воля: сожгите тетрадь, а пепел развейте на моей могиле.

Сегодня ночью «чёрный пёс» приходил и ко мне. Пока в метафорическом смысле. (Тут я под словосочетанием «чёрный пёс» подразумеваю разбуженную, восставшую из могилы, куда её я старательно захоронил, мою совесть). И я всё припомнил. Всё, начиная с самого начала моего жизненного пути. Историю великого обмана и великой иллюзии о царстве добра и социальной справедливости, построенного на крови.

Вспомнил, как я, лейб-медик в четвёртом поколении, оказался олухом царя небесного, поверив фарисеям во власти. Лжепророкам. Преступникам и отступникам от веры и своего народа. Я, конечно, виноват, потому что это и я возводил на крови «царство социальной справедливости и равенства». А счастье на крови не стояло и не стоит.

Сколько воды, слёз, крови утекло за годы этого строительства!.. А ведь нужно было вспомнить то, что уже было на Земле. Много-много веков назад, когда те, прежние фарисеи, очень похожие на нынешних, спросили Иисуса Христа: «Скажи, когда придёт Царствие Божие?». И Спаситель ответил: «Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно, здесь, или, вот – там. Ибо Царствие Божие внутри вас есть».

Потому Царствие Божие нужно искать здесь, на Аномалии, где мы живём, где поставлены Промыслом Божиим. Царствие это не в «измах» – «социализме», «коммунизме», «капитализме». Это всё словесные извороты, придумки со-

временных фарисеев. Ищите Царство Божие в самих себе, в сердце своём. Покайтесь перед Богом, собой и людьми, к чему принуждает вас бессмертный чёрный пёс. Тогда всё противное воле Божией станет и вам омерзительным».

Это было горькое откровение Фоки Лукича, прошедшего вместе с русской армией по горящим дорогам Первой мировой, принявшего и революцию, и красный кровавый террор в Красной Слободе, опьянённого речами новых лжепророков и потому яростно строившего новое «царствие добра и социальной справедливости». И только много лет спустя, с приходом к нему «чёрного пса» понял, что строил это «царствие» на крови земляков... Было, конечно, в чём покаяться русскому интеллигенту с древними германскими корнями, тайно носившему на груди православный крестик, было... Но ведь это он, Фока Лукич, был с непокорным слободским народом в Пустошь-Корени, дремучем лесу Аномалии, лечил партизан, воевал с фашистами. Этнический немец, предки которого не всегда по-матерински ласково были приняты Россией-матушкой, стрелял и убивал, наверное, немцев-оккупантов. Своих бывших одноплеменников! Так думал я, расшифровав каракули Лукича на титульном листе его честных откровений, его апокалипсиса души, покаяния старого доктора перед собой и людьми (иначе, зачем было всё это переносить на бумагу, ведь буква никуда не исчезает даже с точки зрения вечности).

Но ещё больше меня поразило отдельный листок (единственный оригинал, а не фотокопия), который был старательно выведен жирной кириллицей, но витиеватой по форме. Документ был переведён с немецкого на русский, наверное, самим Лукичом, который владел языком своих предков в совершенстве. Писано было по-русски, но внешне текст весьма напоминал готический шрифт, коим в Германии писались все важные документы. И рука, и перо, и даже чернила, когда я в деталях рассмотрел пожелтевший листок, всё-таки отличались от корявого («докторского») почерка Лукича.

Вверху этого странного документа, показавшегося мне чем-то похожим на средневековую «инструкцию по безопасности» при встрече с аномальными существами, обитающими в аномальных зонах, было крупно выведено и трижды подчёркнуто:

ЧЁРНЫЙ ПЁС – ПОСЛАНЕЦ НИЖНЕГО МИРА

Обстоятельства его появления в аномальной части Германии и некоторые правила безопасного поведения добропорядочных христиан при встрече с этим Посланцем Нижнего Мира, предвестником чёрной беды, прожигающим своим взглядом сердца и души нераскаявшихся грешников, верным стражем Великих Тайн Верхнего Мира.

Я, Гамбургский епископ Шлезвинг Пауль фон Эйтзен, лицом к лицу столкнулся 14 августа 1598 года, в городе Гамбурге, с Посланником Нижнего Мира, который предстал предо мной в виде обыкновенного странника, одетого во всё серое. Он говорил со мной около пяти часов кряду и был весьма осведомлён о всех моих помыслах. Я убедился, что он свободно, без малейшего акцента говорит на всех языках мира и читает мои самые сокровенные мысли, как открытую книгу.

Меня интересовало ужасное событие, которое случилось в Гамбурге накануне его появления в городе. Со стороны кладбища (по словам кладбищенского сторожа, поклявшегося на Библии) из провалившейся могилы доктора Кельвина выходил ужасный пёс-оборотень, превращавшийся потом в городе в человека. Человек тот был с головы до пят одет в серое цивильное платье. (Может преобразаться и в человека в оранжевой или чёрной одежде. Цвет оборотень выбирает по цвету времени, в котором он оказывается).

Неизменным всегда оставался только серый, как земля на гамбургском кладбище, цвет лица с нездоровым красноватым оттенком. Особой приметой пса-оборотня можно считать и его глаза, жёлтые, как у собаки, с красными вкраплениями в радужной оболочке. Другие свидетели указывали, что глаза у него были похожи на

неостывшие угли в очаге. Когда внутренний огонь задавал им жару, то эти глаза человека-пса прожигали душу и сердца очередного несчастного.

Посланник, который странствует по свету с того самого дня, когда Христос возносил свой тяжёлый крест на Голгофу, нисколько не удивился, услышав от меня столь жуткую историю о появлении в окрестностях ныне мирного и спокойного Гамбурга человека-пса, этого ужасного оборотня. Более того, он поведал мне историю его странного появления не только в Германии, но и в других странах, начиная с Древнего Египта. После продолжительного нашего общения я уверовал, что оборотень, превращающийся в человека с пёсьей головой (или, когда ему выгодно, принимающий вид обычного для своего времени человека, одетого в серое платье), и Посланник – одно и то же лицо. Как двуликий Янус, к примеру.

На мой вопрос, откуда взялось на головы добропорядочных христиан, моей паствы, это чудовище из преисподней, Посланник саркастически рассмеялся:

– Значит, не так уж, господин епископ, они добропорядочны!

Резко оборвав свой лающий смех, он продолжил:

– Анубис, он же Германубис (имён у него хватает) когда-то жил в Кинополе, дословно с греческого – «собачьем городе». Но ещё раньше о нём появились сведения, дошедшие до ваших дней из Древнего Египта. Я хорошо

знаю Германубиса. Зря вы на него наговариваете, святой отец. В своей работе он, несмотря на суровый вид, всегда ищет в человеке светлое начало. Это позволяет ему получать удовольствие не от конечного результата, а от самого процесса. Но горе тому, у кого он этого светлого начала не находит.

Посланник был со мной предельно откровенен. Он постоянно опережал меня с ответами. Я был уверен, что он читал мои мысли. Так или иначе, но я получил исчерпывающие сведения об оборотне, который вот уже несколько дней держал в страхе мою паству. За это время сгорели дома нотариуса Брумеля и ростовщика Шнейдера, а в Гамбург неведомо откуда пришла холера, которая может за месяц обезлюдить город, задыхающийся в своих нечистотах.

После встречи с Посланником, у которого в чёрных глазах-угольях я заметил искры дьявольского огня, я слёг в постель и этот документ вынужден заканчивать, придвинув пюпитр к кровати. Часы мои сочтены. Поэтому хочу дать некоторые инструкции безопасности поведения всем христианам, которые могут на своём пути столкнуться с чёрным псом.

Я углубился в изучение вопроса, чтобы священные знания обезопасили всякого, кто ими будет владеть. И вот что я почерпнул в мудрых фолиантах.

Анубис, как сказано в Книге Судеб – египетский бог за-

гробного мира, сторож гробниц фараонов в Долине Царей и священных тайн Высокого Мира, к которым, как считает Высший Разум Ноосферы, человечество не готово. Внешне оборотень может принимать свою ужасную форму человека с пёсьей головой. Именно так Анубис изображён на гробнице египетского царя Тутанхамона, которого он и утащил в Низкий Мир в расцвете лет и сил. В Тутанхамоне (второе его имя Тутанхатон) было светлое начало. И Анубис пытался принудить его к покаянию и отречению от найденного этим светлым умом пути к бессмертию человека. Не отступил от своего, молодой упрямец.

Вот как говорил об этом Посланник:

«Ничего личного у Германубиса к Тутанхатону не было, просто уж очень близко этот великий философ, поэт и учёный просвещённой цивилизации Древнего Египта подобрался к тайне Высокого Мира, нащупав тот, истинный, путь к бессмертию, которым хотел обессмертить себя и свой царский род. В том числе и свою любовницу, бывшую первую жену могущественного Рамсея II Нефертари. Статуя Чёрного Пса теперь охраняет и вход в гробницу Нефертари. И эти гробницы, благодаря Чёрному Псу, до сих пор не разграблены».

Оборотень Германубис, который пришёл в наши аномальные земли и грязный Гамбург, кишачий крысами, всё чаще обращается не в человека с пёсьей головой, а в простую с виду, только очень большую собаку с прон-

зительным взглядом, в которых горит огонь преисподней Нижнего Мира. Свидетели, встречавшие оборотня на улицах нашего города, в один голос утверждали, что его не берёт ни удар мечом, ни даже выстрел из городской пушки. Чёрный пёс – бессмертен.

Ни в коем случае при встрече с ним нельзя смотреть оборотню в глаза. Его взгляд может прожечь ваше сердце и вашу душу.

Признаться, не разглядел я в начале той беседы в Посланнике, который якобы пришёл ко мне исповедоваться, Германубиса. Я смотрел ему в глаза, и это было моей ошибкой. Но главное, что я никак не отреагировал на его магические слова, сказанные на латыни: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis». Я должен был повторить на своём родном языке дословный перевод его заклинания: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Я этого не сделал. И Германубис, он же Посланник Нижнего Мира, решил, что я отказываюсь изменяться. Что не отрекаюсь я и от открытой мною тайны эликсира вечной молодости, состав которого я искал всю свою сознательную жизнь учёного и священника. Это означало, что я отказался и от покаяния перед Высшим Миром, Высшим Вселенским Разумом, перед собой и своей паствой. Посланник сказал: «Своим открытием, если оно станет достоянием твоей паствы, ты умножишь Вселенскую скорбь. Поэтому ты должен

умереть».

Холодеющим сердцем чувствую, как этот бессмертный с точки зрения Вечности оборотень, рыскающий по аномальным городам и странам уже не одно тысячелетие, тащит меня вслед за собой в своё ужасное логово, находящееся в заброшенной шахте в предгорном массиве рудной Аномалии Германии. А оттуда я уйду в свой последний и самый короткий путь в Нижний Мир.

Писано в назидание потомкам.. Епископ Гамбурга Шлезвинг Пауль фон Эйтзен, 14 числа чёрного августа 1598 г.»

Сделав копию текста, перепечатав на своей старенькой машинке своеобразную «инструкцию по безопасности гамбургского священника», я хотел было уже бежать к Пашке, но что-то тогда удержало меня. И я точно знаю – что. Когда я выглянул в окно, то увидел под окнами соседского дома, где жили отец и сын Альтшуллеры, неподвижно замерла серая фигура странного человека. Он был одет в серый плащ и серую шляпу. Я взял в руки потёртый бинокль с треснувшим стеклом правого окуляра, который ещё в школе выменял на базаре на кусок сала у какого-то инвалида. Лицо у человека в сером было такое же серое, как и его вся его одежда. И только глаза «серого» будто то гасли, то разгорались неясным красноватым светом в сгущавшихся сумерках. И тогда казалось, что кто-то изнутри раздувал угасающие угольки.

«Должно быть, дом пасут гэбисты», – мелькнула у меня мысль. И я стал искать подходящее место, куда бы смог надёжно спрятать инструкцию гамбургского епископа.

«Бред, конечно, это бред больного человека, – повторял я сам себе, закладывая странную бумагу в тайник под доской подоконника. – А может, и не бред. Ведь, на свете много есть такого, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам».

Глава 2

СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ ³

Продолжение «разномыслей» И. Захарова

Прочитав инструкцию епископа Шлезвинга, узнав о «синдроме чёрного пса», которым, якобы заразился и сам Слободской врач, я еще раз пожалел бедного Фоку Лукича. А заодно и его сына – моего друга Пашку, всегда доказывавшего мне, что его отец, которого все считали сумасшедшим, – «единственно здравомыслящий человек в Слободе да и вообще на всей Аномалии».

Да простит мне мой читатель обилие медицинских терминов. Но мой лучший друг – доктор Павел Альтшуллер – любит повторять слова, сказанные еще его отцом: «История любой болезни – это история жизни». Другими словами, как

³ Синдром (мед.) – сочетание признаков (симптомов), имеющих общий механизм возникновения и характеризующих определенное болезненное состояние организма.

живем, так и болеем. А как, а главное – чем – болеем, так и живем.

По Пашкиной теории получается, что симптомы прошлой жизни – синдромы будущей болезни, возможно, даже со смертельным исходом в самом конце. Ну как ему было не поверить, если, испустив первый крик в роддоме, мы тут же, с первых минут жизни, начинаем неумолимо приближаться к собственной смерти. Знаем об этом, но радуемся жизни. И боимся смерти. Потому что жизнь и смерть всегда рядышком. Порой эти антиподы отделяют лишь едва уловимое – «чуть-чуть».

И все же, по-моему, – это эклектика. Сочетаемость не сочетаемого. Нормальный человек, несмотря на старую латинскую поговорку, призывающую нас думать о смерти, о ней, если нет ни симптомов, ни синдромов, думает очень редко. Или вообще о ней не думает. Нормальный человек о плохом, дурном, постыдном для себя, старается не вспоминать и не думать. Так мы устроены. Так работает наша память – в щадящем режиме. Говорят, что даже серийные маньяки, убившие по два-три десятка человек, хоронят эти воспоминания в самые тёмные глубины своей памяти. Стараются закопать свою больную и почерневшую совесть поглубже, чтобы не терзала душу. Чтобы весело и легко жить дальше. Такие вот торжественные погребение собственной совести.

Не знаю, согласен ли с этим Пашка Альтшуллер, наш доктор Шуля, который, слава Богу, всю жизнь рядом со мной и

как сосед, и как верный друг. Друг единственный, который ещё ни разу не бросил товарища в беде. Пятьдесят лет нашей мужской дружбе стукнуло – это что-то да значит. Прошла проверку и медными трубами, и огнём, и водой, и достатком, и бедностью... Ничто её, слава Богу, не берёт.

Тут за примерами далеко ходить не надо. Только вчера ко мне зашел доктор Шуля, принес пузырек дорогого по нынешним временам немецкого лекарства, понижающего сахар в крови. Знает, что я, безгонорарный писатель, практически сию же Маруси, Моргуши, как мы прозвали одноклассницу еще в школе. (Прошу не путать с Марго, что пишется через «а». Моргуша пишется через «о», от слова «моргать»). Перед тем как заплакать, Моргуша и сегодня часто-часто хлопает своими пушистыми ресницами, а потом уже по щекам катятся её солёные-пресолёные слёзы. Гораздо солонее, чем у меня. Я не раз пробовал их языком, когда целовал её мокрые жены).

– Коррупция и отечественная медицина. Кто кого? – сказал я, радуясь его приходу.

– «Коррупция»... – передразнил он меня. – Подбирайте слова из литературного словаря, инженер человеческих туш. Выписал одной старушке по бесплатному рецепту, а та взяла и померла намедни... Баба с возу, бедному государству легче. А тебе со своим статусом «скрытого безработного», коим, судя по полису медстраха, коим ты и являешься на сей момент, бесплатные лекарства от милосердного государства

не полагается. Земную жизнь пройдя наполовину, ты оказался в сумрачном лесу.

– От покойницы не возьму.

– Ну и дурак, – сказал Пашка. – Это от меня, а не от покойницы.

– Тогда другое дело.

– И вообще, человек с именем диктатора, вы, вы, Иосиф, приносите в последнее время мне исключительно головную боль. Не сосали бы в детстве петушки на палочке, которые на базаре продавала приснопамятная Гандониха, не требовалось бы вам сегодня дорогостоящее лекарство. Синдром сладкой жизни.

Я обиделся:

– При чем тут петушки на палочке? Когда это было-то?

– Вот тут, дорогой исторический писатель, ты сильно ошибаешься, – засмеялся он. – Объясняю, как на лекции о сетевом маркетинге, где каждый жаждет обмануть ближнего и даже дальнего своего. Твоя сегодняшняя боль в одном месте, например, в руке, может быть вызвана падением и травмой позвоночника три года назад.

Удивительно: откуда он узнал про мою боль в руке? Я стал, что было три года назад, но ничего конкретного не вспомнил.

– А три года назад я не падал, – сказал я. – Я больно шмякнулся в прошлом году, когда гололед провода на столбах рвал...

– Да это я, инженер человеческих туш, к примеру... Ну-ка, Захар, покажи язык!

Я показал, сказав при этом: «Бэ-э-э...».

– Синдромы налицо, – самым серьезным образом произнес Доктор Шуля. – Нарушение социального контакта и заметное эмоциональное обеднение...

– Дурак!

– Сам больной, а не лечишься.

Моргуша, наблюдавшая эту сцену со стороны, выронила из рук чашку, которую она протирала полотенцем, и прикрикнула на нас, уважаемых пожилых (то есть тех, кто уже достаточно продолжительный период прожил в жизни) людей:

– Ну, чисто дети малые!.. А обоим вот-вот на пенсию!

Прекратите эту аномалию...

Она так и сказала – «аномалию», ненормальность, другими словами.

– Магнитная аномалия, – сказал Павел Фокич голосом диктора федерального телеканала, – даёт стране миллионы тонн руды. Спасибо тебе, аномалия-кормилица, аномалия-спасительница!

– Я про другую аномалию, – перебила его супруга, накрывая на стол. – Про ваше постоянное дурачество... Нельзя же быть вечными шутами. Особенно сейчас, когда время такое...

– Какое?

– Время серьезных людей, – серьезно сказала Маруся. – Шутам место в шоу-бизнесе.

Пашка развел руками:

– Увы, несравненная Моргуша, – нам туда с Захаром уже поздно...

– Все ниши заняты, – добавил я. – Никаких перспектив.

Павел Фокич добавил:

– Нам оставили голую самодеятельность... А потом, за-
меть, Марусенька, что сегодня и всегда все величайшие глупости на нашей старенькой планете делались с серьезными лицами. Мы ж родились, чтоб сказку сделать былью. Вот и осушали болота, заболачивали пустыни и поворачивали сибирские реки вспять. Доповорачивались...

– У всех начальствующих кретинов, как правило, весьма значительные лица, – вставил я. – Поэту из них получают начальники.

Моргуша тоже спустила с цепи своего твякяющего Дружка:

– Кретинизм – это аномалия со знаком минус. Гениальность – та же аномалия, только со знаком плюс. Нормальный человек где-то посередине.

– Симптоматично, – глубокомысленно заметил доктор Шуля.

– Скорее – синдроматично, – сказал я, на ходу придумывая наукообразное словечко.

Мы сели обедать. Борщ был украинским, но без сала.

(Терпеть не могу сала в борще).

– У меня был знакомый хохол, – сказал за обедом Паша, – по фамилии Борщ.

– Это не фамилия, – сказал я.

– А что?

– Это судьба, – ответил Павел.

– Это прозвище, – поправила Моргуша. – Иосиф целый трактат про слободские прозвища когда-то написал. Ну, ты, Паш, помнишь... Так хотя бы рубль за такое исследование дали!..

– Хорошо, что в морду не дали, – обжигаясь борщом, сказал Павел Фокич. – С прозвищами и кличками связываться опасно. Это вам не «обтекаемое враньё» под названием «служебная характеристика». Прозвища не врут. Да, Ёжик? Или Ёсик? Тебя ведь в честь Иосифа Виссарионовича назвали родители?

Я обиделся.

– Батюшка в церкви имя из святцев выбрал. Сказал, что имя – это вечность.

– Имя – это судьба, – поправил меня друг.

Супруга говорила чистую правду. Я действительно написал большой труд, собрав и проанализировав все слободские прозвища, которые собирал «по крупичкам», как пишут в газетах, все свои «лучшие журналистские годы жизни». Годы, утекшие сквозь пальцы в редакции газеты, утверждал Пашка, для вечности потеряны навсегда.

Прозвище, прилетевшее к человеку на Аномалию с созвездия Чёрного Пса, – это уже синдром будущей перекрученной временем судьбы, считал тогда я. Не изменил своего мнения и сегодня. Синдром будущих побед и поражений. Ведь синдром – это сочетание симптомов, характерных для человека, к которому это прозвище прилепилось. Оно симптоматично по отношению к характеру, привычкам, наклонностям или самой сути человека. Но порой прозвище может быть специфическим, уничтожающим внешние признаки своего происхождения, но всегда указывающие на глубинные причины, скрытые от торопливого и неглубокого ума.

Лет двадцать назад, когда мне слободская власть предложила возглавить районную газету «Краснослободские зори» (в тот год долго болел, а потом умер ее послевоенный бессменный редактор, бывший герой-партизан Борис Сирин с нехорошим прозвищем Сирька) я даже собирался опубликовать что-то вроде научнообразной работы «Прозвище и судьба». Несмотря на природную лень, начал работать над брошюрой: записывал клички и прозвища в толстую тетрадь, научно размышляя над судьбой человека и его прозвищем... В райкоме партии меня высокомерно одёрнули: «Что значит доверять партийную печать беспартийному редактору! Это же полный абсурд! Судьба человека – это судьба нашей партии и нашей советской родины, уверенно устремлённой в будущее под руководством партии!». Я, глядя в окно,

чуть заметно кивнул. Не в знак согласия. Скорее, чтобы меня досрочно не сняли с должности. Но в душе и тогда (и сейчас) был уверен, что не только в имени, но и в прозвище зашифрована судьба человека, его взлеты и падения, преданность и предательство, подвиги и преступления. Прозвище – главная характеристика, которое, думаю, должно, как и ФИО, указываться в анкетах и резюме при приёме человека на работу.

Пашка еще тогда не давал мне права, «трепать его честные прозвища». А без его примеров труд был бы не полным.

Пашу Альтшуллера всегда называли по-разному: кто Шулером, кто за его удобу Щупером, кто почему-то Шпулером, кто – наверное, по этническому принципу – Немцем. Потом уже, когда после окончания мединститута он вернулся врачом в слободскую больничку, стали звать доктором Шулей... Почему «Шулей» – никто не мог объяснить. Просто Шуля – и всё. Тут и улыбка с чувством некоторого превосходства над «белым халатом», и вся тебе слободская симпатия, уважение подвыпившего человека с панибратским акцентом к простому слободскому лекарю, такому же олуху царя небесного, как и он сам.

И в каждом прозвище Паши была своя симптоматика. Внешне он, быть может, и не напоминал Шулера, но в душе всегда был мелким махинатором, таким духовным Остапом Бендером, его любимым литературным героем.

Прозвище, уверен я, – это устный паспорт человека. Не

зря же в нашей слободе так всегда было принято: к фамилии и имени отчеству обязательно добавлять прозвище. Будто народ не доверял государственным метрикам, выданным ЗАГСом. Паспорт можно потерять, поменять в новом паспорте фамилию, имя, паспорт и свидетельство о рождении сегодня можно купить, подделать на компьютере... Прозвище выше электроники. Оно, как имя из «народных святцев», раз и навсегда. Оно, если прилипло, и в химчистку не ходи. Пятно вечное. Сопровождающего того, кого наградили, не только до могилы, но и самостоятельно живущее дальше – пока хоть одна живая душа, пусть нечаянно, мимолетно, но помянула в разговоре прозвище давно ушедшего от слободчан человека...

Этот феномен, как известно, с удивлением и восхищением отмечал Гоголь. Возможно, это он к нам случайно заехал на своем стареньком экипаже с «проблемным» колесом, которое не то что до Петербурга, дважды до российского капитализма доезжало!.. И все кандыбает и кандыбает дальше... Колесо это, наверное, починил кузнец Никита Сыдорук (раньше, уверен, эта фамилия писалась через две буквы «с»), наш слободской Левша: что лошадь подковать, что колесо или печной колосник починить, что морду заказчику набить за веселую дармовую работу мастера... Когда не было заказов, Ссыдорук подряжался конокрадом. И слыл лучшим знатоком лошадей в округе. Был он настоящим профессионалом своего дела. И очень веселым, общительным челове-

ком. С таким прозвищем он и не мог быть никем другим.

Павел ангелом не был: сам приклеивал слободчанам такие кликухи, что «нареченные» им люди обижались на автора до гробовой доски. Меня Пашкин язык-бритва пощадил. Он называл меня, как и все слободские пацаны, – Захаром. А по метрике, я был Иосиф. Так назвал меня отец, вернувшийся в первую же послевоенную амнистию из сталинских лагерей. В честь «отца всех народов». Иосиф Климович Захаров.

Лично мне имя Иосиф не очень нравилось. Когда умер Сталин, мне было пять лет. Но я помнил, как плакала мама, дочь «врага народа», расстрелянного в тридцать седьмом. Смахивал слезу и одорукий отец, слушая по черной тарелке репродуктора сообщение правительственной комиссии о смерти Иосифа Виссарионовича... Вот такой «синдром пса».

Когда Пашка на меня злился, то называл «товарищ Иосиф». Но такие прозрачные намеки в нашей бдительной слободе были опасны – запросто могли «стукануть в органы». За долгие годы власть привила населению повальную политическую бдительность, характерную только для двух великих народов мира – немцев и русских. (Спасибо бате, назвавшего меня Иосифом после нескольких лет сталинских лагерей в честь «отца всех народов»).

Если Павел был в благодушном настроении и куда-то, к созвездиям псов, отлетала на время его желчная ирония, он

называл меня «Ёськой». Или Ёжиком. Даже мою маму приучил называть меня Ёсей, что всегда раздражало меня, а добрая простодушная мама не понимала моей обиды.

– Адольф Гитлер не станет лучше, если его называть Адиком, – огрызнулся я.

– Любое сравнение хромает, – отвечал Пашка. – А твое с «Адиком» – сразу на две ноги. Не обижайся, Захар. Ты же зовешь меня Немцем, хотя казак от рождения. Я ведь не обижаюсь за Немца. А Ёся – это уменьшительно-ласкательное от Иосифа. Я же тебя не Иудушкой назвал. И даже не Иосифом Виссарионовичем...

Я отнекивался, но за прозвище все-таки обижался на друга. Хотя вначале я даже не догадывался, что в «Ёське» есть что-то иудейское.

Это мне директор школы глаза открыл.

Как-то, услышав от Альтшуллера обращенное ко мне «Ёська!», Тарас Ефремович Шумилов сказал:

– Немцы есть. Татары есть. Хохлов – уйма. Евреев нашей школе только не хватало! Всяких там Ёсиков или Абрамов...

Я принял оскорбление в свой адрес и обиделся. И тогда, сделав глупое лицо, которое всегда меня самым чудесным образом спасало от возмездия идеологических врагов, я сказал:

– Тарас Ефремович, а ведь вы нас не перестанете и «Ёсика» учить принципам советского интернационализма?

– В каком смысле? – спросил Бульба, явно опасаясь заложенной мины с часовым механизмом в моем вопросе.

– Вы нам рассказывали, что где-то в Сибири есть целая автономная еврейская область, где все, начиная от областного начальства до последнего скотника на ферме – сплошь евреи...

– Это я говорил? – искренне удивился Тарас Ефремович.

– Три дня назад...

– И сказки про евреев-скотников рассказывал?

– Рассказывали, Тарас Ефремович... – вздохнул я.

Он почесал плешину и, уже смягчая тон, сказал миролюбиво:

– Ну, в сказках и не такое бывает...

Глава 3

УРОК ИСТОРИИ ДЛЯ УЧЕНИКА ИОСИФА

Воспоминания Иосифа о школьных годах

– Я, Захаров, вам историю преподаю, а не математику. А история – это песня, из которой слова не выбросишь, – как-то на своем уроке сказал Тарас Ефремович Шумилов. – Песня для народа важнее всякой формулы.

В моей кумирне⁴ фигура Шумилова занимала видное место. Он и сам был, как говорила моя мама, «видным мужчиной»: косяя сажень в плечах, всегда в хоть и не новом,

⁴ Кумирня – языческая молельня

но отутюженном бостоновом костюме, при галстукe в горошек («под Ленина») на свежей сорочке. Он был секретарем школьной партийной организации, и мы частенько слышали в день полочки, как Тарас Ефремович своим зычным командирским голосом шумел в учительской: «Товарищи педагоги! Взносы! Взносы! Не забывайте про партийный долг – главный долг вашей жизни!».

Удивительно, что мой отец и безногий инвалид дядя Федя, папин брат, всегда говорили о директоре, как о покойнике: только хорошее. Это меня уже тогда настораживало.

– Бать! – как-то сказал я. – А Тарас Ефремович рассказывал нам о партизанском отряде, о его взводе разведки... А про тебя сказал, что ты в отряде только на ливинке⁵ играл и раз из берданки по намцам-почтарям пальнул...

– Это когда две руки было... Хорошо играл, – ответил отец.

– Ну, все там героически с немцами сражались, а ты на ливенке... Обидно.

– Дурак ты, Иосиф, – не злясь, ответил батя. – Дурак и не лечишься... Я бы и сейчас с радостью растянул меха, да не могу, прости... Однорукие на гармони только в своих снах играют... А сказкам Тараса Ефремовича не шибко-то верь... Вона он в газетке как расписал, сколько он со своими разведчиками машин в Хлынино пожег, да поездов под откос пустил... А до ближайшей железки от нас десять вёрст

⁵ Ливенка – разновидность русской гармошки

с гаком. Где это он вражеские эшелоны под откос пускал, а?

– В Дрюгино ездил, – парировал я.

– С печки на лавку он ездил, твой герой.

– Это ты от зависти, от злости на свою несправедливую судьбу...

– Судьба, она всегда справедлива к правому... Человек бывает несправедлив. А судьбу чё корить?

Он оборвал завязавшийся было разговор:

– Ну, потрандели и буде... Мне пора в артель. Сегодня приду поздно. Будем углы в крепи заводить...

Вернувшись на свободу, отец начал с дядей Фёдей строить дом. На месте сожженного карателями в войну. После освобождения района семья моя жила в землянке. Точнее – в погребе, переделанном в землянку. В этой землянке весной сорок восьмого родился я. Не помню, конечно, свое «родовое место». По веской причине младенческого беспомыслия. Но когда мой одорукий батя с обезноженным войной братом отстроили новый дом Захаровых, мне показалось, что я уже его где-то видел. И запах смолистой сосны уже когда-то вдыхал полной грудью. И даже коник под крышей мне был до изумления знаком... Всё уже было, было... Только когда – не припомню.

Новый дом отец с дядькой ставили долго. Очень долго. Перво-наперво плотницкая инвалидская артель «Победители», куда вошли все, кто потерял на войне разные части своего тела, срубила огромную крепь герою-партизану, сыну ге-

роически погибшего командира «Мстителя» Григорию Петровичу Карагодину.

Тогда останки Петра Ефимовича выкопали с нашего огорода и торжественно перезахоронили на площади, у райкома. А нашу в посаде назвали улицей Петра Карагодина. Сын его, Григорий, стал секретарем райкома партии, женившись на Ольге Богданович, дочери Якова Сергеевича Богдановича, послевоенного первого секретаря Краснотырского обкома партии.

Когда батя затеял организацию плотницкой артели, чтобы дать возможность инвалидам хоть как-то прокормиться, не побираясь у пивных, то ходил за разрешением к Григорию Петровичу. И Карагодин-сын, начинавший собственное грандиозное, по тем меркам, строительство своего дома, придумал имя артели «пяти с половиною калек», как говорил отец, – «Победители».

Народно-партизанская власть смилостивилась над калекками. И узаконила плотницкую инвалидскую артель, так сказать, официально. А отца, которого после 53-го полностью реабилитировали, поставили даже бригадиром «Победителей».

Свою молодую жену, мою будущую мать, он привез из Сибири в сорок седьмом. Мама, не совладав от какой-то болезнью, полученной ею еще за «колючкой», так и не оправилась в слободской жизни. В землянке было сыро, холодно...

Помню только её постоянный кашель. По новому дому она неслышно ходила уже, как тень. Кашляла так тихо, и я слышал, как с каждым приступом кашля ее покидали жизненные силы. Хорошо помню её тихие похороны, плач бабушки Дарьи, беспрестанно курившего отца и безногого дяди Федора. Дед Иван к тому времени уже «прибрался» сам – угорел «при исполнении», в правлении колхоза, которое он сторожил по ночам.

Всю жизнь мой отец вкалывал за двоих, получая сущие копейки за свой «трудо­вой энтузиазм», а часто, не получая и их. Верил Сталину, потом Хрущеву... Так и умер с верой на потрескавшихся губах. Без стонов, жалоб, без упреков. И всегда напоминал мне: «Бог, Сынок, дал человеку две руки, чтобы одной брать, а другой отдавать». Ту, которой подра­зумевалось брать, ему еще в отряде отпилил партизанский доктор Фока Лукич. А ту, которой отдавать, оставил... Потому, наверное, и считал он себя в вечном долгу перед людьми и небесами.

Я прозревал медленно. Как слепой кутенок. Тарас Ефремович еще не раз попытался подчеркнуть память о моем отце... Да так, что я подолгу плакал, забившись в темный угол амбара.

Как-то, посылая старшеклассников на «субботник» на новостройку секретаря райкома, директор школы сказал:
– Григорий Петрович своей кровью получил право на новый дом. Всем миром ему его и поставим. А некоторые во-

руют с этой ударной районной стройки дефицитные лесоматериалы...

– Это кто такие «некоторые»? – спросил я Шумилова, зная, что Тарас Ефремович намекает на моего отца, который с разрешения прораба брал обрезки доски и прочий хлам на нашу новостройку..

– Есть и среди «Победителей» лагерники с воровскими замашками.

Я втянул запыхавшую от стыда и гнева голову в плечи.

– Замолчите! – закричал Пашка на директора, заступаясь за меня. – Вы... вы... не имеете права, так говорить...

– Прав не имеет тот, кто советским судом поражен в правах. А я это право имею!

Пашка уже взял себя в руки. И сказал иносказательно:

Ладно, с правами проехали... Чтобы не заржать, конь прикусил удило⁶.

– Чё-ё?

– А просто так, через плечо, товарищ директор!

Бульба проглотил его насмешку, потом схватил Пашку за ухо, крепко крутанул его, приговаривая над танцующим мальчишкой:

– Еще одна твоя выходка, сучонок, и вылетишь из моей школы пробкой... Понял? Нет, скажи, ты понял?

Пашка долго танцевал вокруг Бульбы, но наконец боль взяла своё.

⁶ Удило – железные два звена, вкладываемые в рот лошади при взнуздании

– Я понятливый, Тарас Ефремович...

– То-то... Теперь слышу слова не мальчика, но мужа.

Дома я плакал в амбаре. Долго плакал. А когда слезы высохли, стал придумывать страшную месть любимому директору. Я стал вслух, торжественно награждать его позорными кличками и прозвищами. И мой бывший школьный кумир, купался в них, как воробей в грязной луже. И тогда я понял: словом можно убить. Хотя не для того, наверное, Бог дал его человеку. Я, сидя в темном амбаре, творил зло. Но то было необходимое зло.

Я вспоминал багровое лицо Тараса Ефремовича, его пакостные слова и грешил с даром Божьим, придумывая клички. Самая безобидная из них была «Тарас-пидирас».

Уже сильно хворавшая мать нашла меня в «углу плача». Вывела на свет, прижала к себе и сказала:

– Война всем нам принесла очень много горя, сынок... Немцы заживо сожгли твоего прадеда Пармена и прабабушку Парашу. Война отняла у отца правую руку, у Федора Ивановича – ступни ног. И в том, что зло до сих пор в душах людей, тоже виновата война. Нужно не гневить Бога своим словоблудием, а найти силы и простить своих обидчиков и гонителей. Простить и молиться за них...

– Да ты что, мам? – поднял я на нее заплаканные глаза. – За них и молиться? Да лучше я сдохну в этом амбаре...

Тогда я уже знал, что в девичестве фамилия моей мамы

была Землякова. И до войны она жила в Москве, в семье своего отца – генерала бронетанковых войск Павла Сергеевича Землякова. В тридцать седьмом генерала осудили. И расстреляли как врага народа.

Моя мама с юности ковала свое счастье, выходя на вечернюю поверку не с человеческим именем, а с номером на фуфайке – набором чисел Зверя, заменившим ей имя от Бога. Я хорошо помню мою милую, тихую маму. Она много читала. Много плакала. И всё время молилась, стоя у иконы в красном углу нашего нового дома.

Папа познакомился с ней в ссылке. В сорок третьем его, уже потерявшего в борьбе с гитлеровцами правую руку, несправедливо, как я считал, отдали под суд. Но в первую же послевоенную амнистию он вернулся в родную Слободу. И не один. А с молодой женой, которая вскоре и стала моей матерью. И с дядей Федором. Калека побирался на железнодорожной станции Дрюгино и, если бы не отец, пропал бы, как тогда пропадали тысячи людей, искалеченных войной.

На улице Петра Карагодина, знаменитого партизанского командира, погибшего от рук карателей, посадские мальчишки как-то обозвали меня «тюремщиком», намекая на прошлое моего бати. Тогда я дрался сразу с тремя обидчиками. Я, не думая о боли, мстил своими маленькими, но твердыми кулаками, скорее не за себя – за отца. За его исковерканную судьбу, которая аукалась мне всю мою жизнь...

Придя домой с расквашенным носом и подбитым глазом,

я упал на деревянный диванчик и горько заплакал. Отец выругивал слободскому шорнику очередную «халтурку» – пяло⁷. Жили мы бедно, трудно, и батя не чурался никакой работы – лишь бы кусок хлеба или чугунок картошек заработать...

– Ну почему ты у меня не герой!.. – безутешно рыдал я. – В партизанах был, а медальки, как у отца Сашки Разуваева, нету... Под трибунал попал, как нам директор школы рассказывал, вместе с ворами в тюрьме сидел... Почему так? Почему?..

Отец отложил оструганную доску в сторону, поправил выбившийся из-под ремня пустой правый рукав стиральной-перестиранной солдатской гимнастерки.

– Это кто тебе про трибунал рассказывал?.. – подошел он к диванчику, но не присел рядом. Только чуть наклонился ко мне. – Кто тебе про родного отца хреновень всякую плетет, а ты, сопля медная, спешишь всякому трепу, всякой транде⁸ посадской⁹ поверить?!

Я проглотил слезы. Отец потряхнул шевелюрой, убирая прядь русых волос, мешавших ему смотреть на меня.

– Директор школы, говоришь, тебе душу мутит?..

– Да не, – испугался я за любимого Тараса Ефремовича. – Это пацаны дразнились... Тюремщиком меня обзывали! Я

⁷ Пяло – доска для растяжки чего-либо.

⁸ Транда – болтун, говорун.

⁹ Посад – поселок, предместье, окраина Слободы.

им дал! И они... вот... Рубаху кровью закапал... И воротник оторвали.

Я разревелся с новой силой.

– Не реви! – неожиданно смягчился отец, присаживаясь на краешек деревянного диванчика. – Я не тюремщик... А уж тем паче – ты. Придет время – всё узнаешь. И, может быть, даже всё поймешь...

Он погладил меня по непослушным вихрам, чего я никак от него не ожидал в ту минуту.

– А медаль, сынок, не дали... Так разве в медали дело? Каждому медаль отливать – никакого металла не хватит. Ни стали, ни алюминия, ни тем более серебра... Кто-то же должен без медали после войны ходить, работать, крепи рубить, траву в огороде полоть, а не языком с трибун молоть...

В этот день у меня в душе был траур – умер мой недавний кумир, наш учитель истории, он же директор школы, Тарас Ефремович Шумилов. Как я мог отомстить ему за поруганную честь отца? Да никак...

И тогда я стал придумывать ему убийственные клички, так мстя ему за фарисейство. О фарисеях мне еще в сырой землянке, в которой мы, Захаровы, жили долгие послевоенные годы, где в сорок восьмом году родился и я, мне рассказывала бабушка Дарья. Малограмотная старушка книжек, как моя мама, не читала. Но рассказчицей была удивительной. Природной народной сказительницей, как я сейчас понимаю, была бабушка Дарья... Когда в сорок третьем,

закрыв клуб, открыли нашу церковь, где настоятелем стал приемник убиенного на Соловках слободского батюшки доживавший свой долгий век отец Димитрий, бабушка пошла в прислужницы храма Божьего. По хозяйству дома управится – и в церковь помогать старому священнику. Про Димитрия поговаривали, что «зашибает» он малость, водочку втихоря попивает... Как-то я спросил об этом бабушку. «И последний пьяница войдет в царство Божие раньше, чем фарисеи... – ответила Дарья Васильевна. – Так, Иосиф, в Священном писании сказано». Я подмигнул старушке: «Конечно, ба! Ведь Водяра – не последний, а первый пьяница в слободе. Он и в шинок к вдове Васьки Разуваева за самогонкой первым по утрам тащится, и за святой водицей – первым с баночкой стоит... Никого вперед не пропустит».

Тогда бабушка оттрепала мне уши за богохульное, по её разумению, сравнение. Теперь я, кажется, понимаю всю глубину этой Правды... Теперь, земную жизнь пройдя наполовину, и мне захотелось, чтобы фарисеи вообще никогда не вошли в царство Божие, куда не закрыта дорога даже Веньке Водяре, но будут заперты те врата перед моим первым учителем истории – Тарасом Ефремовичем Шумиловым.

И на ромашковой поляне, у «нашего лукоморья», в яркий солнечный день я придумал самую черную кличку нашему директору: «Тарас-педераст». (Кличка прилипла к Шумилову быстро, только несколько трансформировалась для простоты звучания. Жестоко отомстил я директору, Аюсь... По-

тому буду называть его именем, давно придуманным слободским народом – Бульбой. Это не обидно, даже почетно и точнее: чем он нас породил, тем и безжалостно убивал – исторической ложью, двойной моралью и лицемерием. Врал напропалую, во имя спасения... Вменяю сегодня ему и этот грех. И одновременно прощаю его).

К отроческим годам во мне проснулись задремавшие было в детстве творческие силы. И уже в пятом классе получал за своё творчество «гонорары»: ремнем по тощей заднице от отца. Порол он меня, разумеется той рукой, которая ему заменила обе. Значит, с удвоенной силой. Оттого поэтический талант пропал у меня окончательно, только-только народившись на свет. Любовь к «изящной словесности», рифмам и поэтическим метафорам была отбита окончательно.

Придумывал я прозвища и своему лучшему другу Пашке. Тут моя фантазия давала какой-то сбой. Придумал их с дюжину. Но все они били мимо цели, подчеркивая лишь второстепенные черточки его, как сейчас понимаю, талантливой и многогранной натуры. Я придумывал клички, когда злился. Вот они и выходили сырыми от злости, не приклеивались... Наверное, тогда я и понял, что творчество и озлобленность – две вещи не совместные. Месть терзает сердце и тупит ум. Отмщение – это не месть. Это плата за грехи тяжкие. Расплата по прейскуранту жизни. Потому-то отмщение бывает даже святым... Или кровным, как у некоторых горячих на-

родов. Меня же мама учила молиться за врагов и гонителей наших... Так и не научила – не успела: рано умерла.

Фамилия у Паши вот уже пятьдесят восемь лет всё та же – Альтшуллер. Не поменял он её на Иванова или Сидорова, на худой конец Фокина (отчество у него такое ископаемое – Фокич), хотя мог запросто: знакомства в паспортном столе позволяли.

– Зачем мне убогая роскошь наряда? – как-то сказал Пашка по этому поводу. – Умри, Захар, но лучше и безопаснее фамилии не придумаешь.

– Безопаснее? Для тебя как раз очень опасная... – ответил я.

– Для людей не опасная. Вот Карагодин – фамилия для людей опасная. Потому что «кара» по-татарски – «черный» или «черт». Карагодин – черту угоден...

– А я, Захаров, кому угоден?

– Никому. В твоей фамилии сплошной примитив устного народного творчества: выйду на реченьку, погляжу на быстреньку... Кому-то явно не хватало фантазии. Вот великий Чехов придумал фамилию Пришибеев. Говорящая все околотку, значит опасная.

– А твоя, твоя фамилия, – начал заикаться я от обиды, – вообще не нашеньковского околотка. Дряннь несусветная, а не фамилия...

– Это с какого боку к ней подойти, – не обиделся Альтшуллер. – Моя фамилия тоже говорящая. Но сказать что-

то она сможет только просвещенному человеку. Философу. Хотя старообрядцы и философию называли служанкой богословия. Так что вряд ли мы вообще когда-нибудь поймем, крошка сын, что такой хорошо, а что такое плохо... Плохих фамилий не бывает. Бывают только плохие люди.

Альтшуллер Павел Фокич... Такая вот странное, на первый взгляд несочетаемое сочетание... Он утверждал, что его фамилия – немецкая. И досталось ему, как сказано в «бурдовой тетради» отца, по наследству от Карла Альтшуллера, немецкого аптекаря, поселившегося в Московии еще при Иоанне–IV. В переводе с немецкого означает – «старый ученик», в вольном Пашкином переводе: «вечный ученик».

Глава 4

ФОТОГРАФИИ НА СТАРОЙ СТЕНЕ

Иосиф Захаров о словах, которые даны нам, чтобы скрывать свои мысли

Я страсть как не люблю цветную хронику жизни частного человека, снятую безупречной «цифрой». Сколько раз сам снимал семейные события на видео, но никогда эти пленки и диски потом не пересматривал – в цветном изображении, в сочной палитре подкрашенного электроникой даже самого сочного цвета – нет «запаха» времени. Видеомагнитофоны, планшеты, айфоны, ноутбуки и прочая бытовая техника несет на себе отпечаток назойливой телерекламы. А значит

– яркого вранья.

Не люблю и парадные гляцевые портреты с искусственно натянутыми в улыбке губами... Люди разные, но все обязательно хотят выглядеть «одинаково – успешно», говоря фотографу непонятное никому чужое словцо: «чи-и-из». Потому и их нынешние улыбки чужие, фальшивые; глаза не верят фотографу и его «чизу».

Это не улыбка. Это «деланное лицо», западная личина. На старых фотографиях, сделанных в конце 19-го – начале 20-го века люди всегда серьёзны и сосредоточены. Им незачем притворяться счастливыми. Потому ни беду, ни настоящее человеческое счастье обмануть нельзя никакой «американизированной» белозубой улыбкой. Все карточные шулеры давным-давно в совершенстве овладели искусством «делать веселое лицо» именно при плохой игре.

Зато теперь, когда у меня, человека «свободной профессии», появилось нежданно свалившиеся на голову богатство – свободное время, – я могу часами рассматривать старые фотографии. Их, в рамках моего детства, выпиленных из фанеры лобзиком, в модных современных обрамлениях из пластмассы «под дерево», много в моем рабочем кабинете с окном, выходящем на старый сад, посаженный моим отцом еще при жизни. Бесконечно дорогие для меня, Павла и Моргуши черно-белые кусочки почти уже позабытой, уже незнакомой моим детям «другой» жизни...

Наверное, человеческие воспоминания тоже куда-то ухо-

дят, накапливаются где-то, сортируются кем-то для «дальнейшего судопроизводства». Почему бы этим «местом» для таких «малых псов», как я, не может быть какое-нибудь созвездие Малого Пса? А для «псов больших» – созвездие Пса Большого?.. Есть же «накопитель памяти» в моем компьютере, подаренном мне Пашкой еще на моё бесславное 50-летие. Тогда он сказал: «Тебе, старичок, полтинник... А что сделано для вечности?». Ни-че-го. Придумал вот своё созвездие, назвав его «созвездием Чёрного Пса». Но ведь это виртуальное достижение. Никто, кроме Павла и Моргуши, об этом моём открытии ничегошеньки не знают. Пока, выходит, живу «в долг» у Вечности. А когда отдавать-то, если тебе уже за полтинник перевалило?.

С человеческой памятью, думаю, сложнее, чем с компьютерной. Вот смотрю, вспоминаю, а на ум лезут стихи Державина: «Я – царь – я раб, я червь – я Бог». Разве машина, пусть и самая интеллектуальная, смогла бы выдать такой образчик «парадоксального мышления»? Да она бы просто загорелась от перегрева, если бы постаралась выполнить задачу программиста. Ибо машинная логика безупречнее, конечно, только с точки зрения машины. С точки зрения самого совершенного мозга, напичканного сумасшедшими парадоксальными идеями, логика компьютера всегда ограничена программой. Значит, человеческий мозг – самое совершенное создание Господа? Его сознание? Его душа? Он ведь посложнее любого компьютера, созданного человеческим моз-

гом. Есть ли предел у компьютерной памяти? Есть, конечно. А космос души, как и космос Вселенной, – без конца и начала. И моё созвездие Псов – это всего-навсего «отстойник» памяти, промежуточная сортировочная станция, где наши прошлые деяния, прежде чем получить оценку, небесным воинством сортируются по статьям нарушенных Заповедей и степени тяжести грехов наших.

Память машины определяется в каких-то электронных измерителях, кажется, в «гигобайтах» (или как их там?). Память человека – избирательна. Она щадит совесть, твой внутренний стыд, если те еще подают признаки жизни. Она может притвориться забывчивой, даже вовсе беспамятной. Но «накопитель-то» не обманешь... Там, там, в черной космической бездне, где прячутся звезды Псов, хранится самое сокровенное, самое святой и постыдное, самое счастливое, легкое и самое невыносимое, тяжкое... И ничего нам с этим не поделать – не притвориться беспамятными, счастливыми, успешными, любящими, любимыми... Как нельзя притвориться, что ты -живой. Ты либо живой, либо мертвый. Если душа опустела, то умереть можно, не утрачивая признаков внешне вполне благополучной, даже счастливой жизни. Таких «живых мертвецов» нынче тысячи. Их штампуют заведомо по «определенному евростандарту». Никаких отклонений от норм Евросоюза и прочих суперальянсов! Шаг влево, шаг вправо снова карается расстрелом, в лучшем случае – выпадом из обоймы. Государственной машине нужны

только точно калиброванные детали. По суперевростандарту. О'кей! Для любой машины – в том числе и государственной – винтики, послушные отвертке главного механика, сверхважный залог стабильной работы всего механизма,

Нет, прав, тысячу раз прав мой старый друг Пашка: «Слова даны человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Впрочем, Гейне приписывал эту фразу одному наполеоновскому министру. Я – Пашке. С министрами я не дружу.

...Я перебираю старые фотографии, выгребая их из черного конверта для фотобумаги, – и вспоминаю, вспоминаю... Я ухожу из настоящего, осточертевшего своими вечными проблемами, хроническим безденежьем, борьбой за выживание в отчем доме, который мой однорукий батя и безногий дядька срубили и поставили еще в пятьдесят третьем. Без жалости покидаю это пространство и время, и плыву по волнам моей памяти в «светлое прошлое». ... Помните, была такая пластинка на 33 с половиной оборота – «По волнам моей памяти». Для меня самой большой загадкой всегда оставались эти «пол оборота». Ну, кто их выдумал? Почему нельзя было остановиться на 33-х? Нет, вот вам 33, а вот еще и пол оборота. И в этой-то половинке – вся непостижимая тайна, без которой ничего не крутится. Или крутится не так. Всю жизнь ищу и не могу найти оставшиеся пол оборота... Как мне их часто не хватает.

Мой старший сын Сашка, недавно окончивший диплома-

тическую академию в столице, знал еще несколько моих любимых песен. Мой младший сын Сенька, постигающий в той же столице непостижимую для меня профессию менеджера, уже не знает ни одной песни моего поколения. Ни единой. Даже Есенина не поет. Наверное, я виноват, что не обучил. Обучал. А он не пел с моего голоса. И, наверное, слава Богу. Пусть поет свои. А они для меня – чужие.

Сашка же, став «значительным» лицом, то есть получив какую-то должностёнку в консульстве России в Антигуа и Барбуду, – есть, оказывается, такое государство, расположенное на островах какой-то Малой аномальной дуги, – стал забывать язык родных осин. И, что я заметил, совсем перестал петь. А какой был голос в детстве!.. Думали, второй Лемешев будет. Или Козловский. Или Магомаев. Или, на худой конец, Лещенко, песни которого он пел на своих школьных вечерах. Нет, уехал к пальмам, где тепло и обезьяны выпрашивают у туристов недопитое пиво. И стал безликой *vir*-персоной, в маске важного человека. Человека мира. Фигурой абсолютно космополитической, хотя, конечно, звучит красиво – «человек мира».

Сенька вообще, по его словам, будет «ярмарочным специалистом». Господи, о времена, о профессии... Как бы там ни было, студент Семен Захаров уже сегодня расталкивает крепкими локтями конкурентов и прочих лоточников на ярмарке тщеславия, которая в аномальных зонах и ярче, и балаганнее, что ли, и жестче в своей безжалостной конкурен-

ции к друзьям и врагам своим. Потому что на открывшихся тут и сям ярмарках тщеславия друзей нет. Есть только конкуренты, которых нужно обойти, опередить, прижать к ногтю.

Изредка сыновья приезжают в наш старенький дом. Сашка хотел было сломать русскую печку, чтобы соорудить модный камин. Но мать возразила, что «на твой камин отец дров не напасется!..». Слава Богу, отставил свою затею.

А Сенька утверждает, что только у нас, в районе лукоморья (так мы с Пашкой еще в детстве назвали на Свапе свое заветное местечко) в реку можно войти дважды. А то и трижды. И ничего не изменится в Краснослободске. Ничегошеньки...

Семён называет свою родину «Вороньей слободской». Именно в «Вороньей слободке» Ильф и Петров поселили Лоханкина и прочих обитателей коммунальной квартиры номер три. Вот ярмарочно-рекламные достойные плоды...

...Я смотрю на давно пожелтевшую фотографию нашего выпускного класса. Внизу чем-то острым просто и без затей нацарапано: «Краснослободская ср. школа, 11 класс, 18 июня 1966 г.».

На первом плане, сидит на стуле надутый своей внутренней значимостью человек со сдвинутыми к переносице мохнатыми бровями, обвислыми по складкам щек угрюмыми се-

деющими усами. Это наш директор и учитель истории Тарас Ефремович Шумилов.

Рядом с ним верная Анка-пулеметчица, наша «классная дама», учитель русского и литературы. Как же ее фамилия? Память моя стерла её. За ненадобностью. А ведь и она учила нас понемногу. Чему-нибудь, и как-нибудь... Много помню, очень многое в мельчайших подробностях, а фамилию Анны Ивановны забыл. Будто и не знал никогда. Всё Анка-пулеметчица. Правда, без Петьки и Василия Ивановича.

А кто этот худой стриженный голубок с глазами, в которых застыла вся вселенская грусть? Да это же – я, Господи!.. Какой же я здесь страшенький и жалкий. Как бездомный щенок. Но – глаза!.. С такими глазами рождаются поэты и самоубийцы. Я тогда еще был во власти иллюзий и не бросил писать детские банальные стихи. Все свои произведения я посвящал Маруси Водянкиной, с которой три года просидел за одной партой. В неё тайно и явно были влюблены все мальчишки нашего класса.

А это – он, Пашка Альтшуллер, «вечный» (или все-таки «старый»?) ученик» с лукавыми глазами. На любой фотографии он всегда серьёзен. Одни глаза смеются, будто всё о всех знают наперёд. Не по годам и житейскому опыту. Лицо юного, ироничного до вредности старикашки. Слободского, доморощенного мыслителя. Именно тогда я сочинил про него: «Отличен Паша от глупца тем, что он мыслит без конца». А плутовские глаза говорят: нет, не зря ты меня иногда назы-

вал Шулером... Ну, прямо лучатся иронией, за которую ему так часто приходилось платить в прошлом, но еще больше – в настоящем.

Сегодня я понимаю: так Пашка защищался от ударов судьбы и земляков. Три года он прожил в нашей семье. Даже если вместе с ним не съели пуда соли, то, как мне казалось, я достаточно хорошо знал своего закадычного друга.

А кто это вот тут, прямо за нашим несравненным Тарасом? Кто это в белом школьном фартуке выглядывает из «коммунистического далеко»?.. Кому и в Слободе, и в Краснослободске жить хорошо? Кто это и жить торопится и чувствовать спешит?

Кто ж из наших не узнает бывшую первую красавицу Краснослободской школы нашу Марусю Водянкину!.. Хотя почему это бывшую? И сегодня моя милая (натуральная!) Моргуша даст сто очков вперед всем «умерщвительницам» плоти, «поглотительницам» тайских таблеток и миллионерам, натягивающим в зарубежных клиниках кожу с подбородка на желтый костяной лоб. Разве не ей я посвящал свои лучшие стихи, которые она записывала в свой самодельный песенник под претензионным названием «Виновата ли я?..».

«И выстраданный стих, пронзительно-унылый, ударит по сердцам с неведомою силой».

Пашка тоже неровно дышал к Марусеньке. Даже придумал ей изящное прозвище – Королева Марго. А я переделал его в Моргушу. Не от Марго, а от слова «моргать». Моё про-

звище ей подошло лучше. Хотя, как она признавалась, Пашкино было все-таки изящнее и поэтичнее.

Эх, Моргуша, Моргуша... Где твои семнадцать лет?... Да там же, где и наши. Я подношу старую фотографию к лицу и даже нюхаю картонку. вспоминаю запах ее густых русских волос. Запах этот так кружил головы...

Бог не обделил Моргушу талантами. Она была певунье, первой танцовщицей школы. Только рисовала посредственно.

Я не стал любимым Моргушиным поэтом. Она любила Пастернака, хотя Анка-пулеметчица прививала ей «программную» любовь к Маяковскому. Шулер быстро это просек и как-то, когда после уроков мы выпускали очередного школьного «Крокодила», задумчиво глядя в окно на поляницу березовых дров, помойку с кошкой Дусей на крышке, наглых сорок, прыгающих вокруг помойки с кошкой на её вершине, – прочел:

В кашне, ладонью заслоняясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

И тут же получил в награду улыбку Маруси Водянкиной.

Я не знал, что эти строки написал Пастернак. И опростоволосился перед Моргушей, сказав, что у Вознесенского заслуживают внимания только «Антимиры».

– Ничего, ничего, – снисходительно улыбнулся Пашка. – Мерцающее сознание поэта. У филистеров это бывает...

– У кого? – сжал я кулаки.

– У филистеров, – повторил Павел, отступая от меня к двери. – А не у тех, которые глисты, как ты подумал...

– У каких таких филистеров? – повторил я, спуская с цепи своего пса.

– Филистер – это человек с узким обывательским кругозором и ханжеским поведением. Вот у Гете, в цикле «Кроткие Ксении», есть такие строчки...

И он продекламировал по-немецки. Это язык Пашка знал лучше всех в классе.

– Was ist der Philister? – взял я Пашку за грудки, припечатывая его к стенке. – А ну, Немец, переведи!

Пашка освободился от меня, сказал с обидой в голосе:

– Классиков нужно читать только в оригинале... Не доверяйте, сэр, нашим переводчикам... Они переводят так, как им приказано издателями и книготорговцами, а не написано автором. Знаешь, как хохлы перевели фразу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»?.. «Голодранцы всего свиту, гоп до нашей кучи!..». Есть разница, старичок? Голодранцы и объединились. Нищета духа стала пропуском в их «светлое будущее».

– Ты мне мозги хохлами не пудри! Переведи, Немец! – не отставал я от друга.

– Ну, пожалуйста, пожалуйста... Что такое филистер, за-

дается Гёте риторическим вопросом. Это пустая кишка, полная страха и надежды. Такая пустая, что, в конце концов, даже Бог над ней сжалится. Так что пустота и Высокому Миру небезразлична.

– Глубокомысленно, – протянул я. – Ладно, сегодня это сошло тебе с рук. Но больше не говори на том языке, который не знают окружающие тебя люди. За такое шифрование морду бить надо.

Пашка обиделся. Но через час мы уже помирились. Запихивать камни за пазуху было не в наших правилах. Копить мелкие обиды, чтобы они со временем вырастали в крупные неприятности, считали мы моветоном, дурным тоном, если по-русски.

Глава 5

ВОСПОМИНАНИЕ В «ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТЕ»¹⁰

Мемуары Иосифа Захарова

Думаю, что насмешливость – господствующая черта характера не только тиранов, но и рабов. Всякая угнетенная нация имеет ум, склонный к осмеянию, к сатире, к карикатуре.

Так и мои земляки всегда мстили за свои бедствия. За

¹⁰ Плюсквамперфект – грам. форма глагола, обозначающая действие, предшествовавшее какому-либо другому действию в прошлом в латинском и некоторых других языках.

унижения.

К чертовой матери все нынешние презентации – торжественные и глупые, аскетические и с пышными фуршетам, одинаково претенциозные, с раздачей слонов довольной публике, с демонстрацией в младших классах «просвещённого Запада» правильных действий по надеванию презерватива на голый мужской манекен. Слава Богу, что наша аномальная зона оказалась на обочине столь продвинутой культуры Запада, которую отечественные столичные либералы выбрали в качестве обожания, подражания и угоднического любования.

Где кончается анекдот и начинается жизнь? В театре абсурда во Всемирной Аномалии эта черта давным-давно уже стёрта. В здоровом теле, которое ухожено и накачено в дорогих элитных фитнес-клубах, не всегда присутствует здоровый дух.

В детстве я был поэтом. Пока души не загажены, пока дух ребёнка ничем не заражён и здоров, в эти благословенные времена многие дети – гениальные поэты, видящие мир чистыми простодушными глазами. Но не провинциальное филистерство, как утверждал Альтшуллер, сгубило нераспустившиеся, хотя и уже набухшие, почки. Тут была другая причина...

Поэт должен видеть глаза Бога. А нам это было запрещено. В лучшем случае, мы смотрели ЕМУ в спину, по крпип-

цам собирая то, что было уничтожено в «окаянные дни», как определил то время дальнорский Иван Бунин. «Узреши задняя моя»... Какой из тебя поэт, если не видишь истинной сути Что великого можно создать, не видя лика Господня? Вопрос, как любит говорить Пашка, риторический.

И все же я счастлив, что не стал поэтом!.. Мой Бог милосердный помиловал. Пашка еще тогда с ехидной ухмылкой говорил, что это случилось по одной причине: у меня лицо «не подходящее для поэта», недостаточно поэтическое и умное, что ли. Вспомните, лицо Льва Толстого на портрете, который висел в кабинете литературы вашей школы. «Какая глыба, какой матёрый человечище!..» – это ведь всё от лукавого. Таких стариков с окладистой бородой и колючем взглядом было пруд пруди в толстовском имении Ясная Поляна. Прелюбодей был ещё тот, граф Лев Николаевич... Но мыслил широко, а главное, как казалось ортодоксам парадоксально: мол, не противься злу насилием. Хотя что тут парадоксального с точки зрения Вечности? Непреложный закон Ноосферы: не умножай вселенской скорби! Ещё в Библии сказано, что если тебя ударят по правой щеке, подставь левую.

Я всегда ценил Толстого-художника. И не любил Толстого-мыслителя. Зачем, простите, художнику изворотливый ум лисицы? Ему талант требуется. А это нечто другое, чем интеллект. Это дар Божий. Особый дар для тех, кто соперни-

чает с самим Творцом. Отсюда и судьбы у настоящих писателей всегда трагические. Это ненастоящим писателям, для которых казаться важнее, чем быть, живет весело, вольготно на Руси. При любых чёрных псах. Настоящие – всегда в конфликте с властью предрержащими. Потому что не родился еще на Аномалии тот, кто готов к Правде. Не готовы страдать ради своей, пусть малой, но – своей!, правды и расчётливые конформисты. И я их по-человечески понимаю. Быть и казаться – не одно и то же. Художник Правды, какой бы она ни была – горькой, солёной, перчёной – должен всегда готов к лишениям, гонениям, забвению или даже к своей голгофе. Как там, у классика? «Лишь тот достоин чести и свободы, кто каждый день...» и так далее. Громко сказано. А начинать, думаю, нужно не с боя с ветряными мельницами, а со своего сердца. Нужно учиться видеть не только глазами, но и сердцем. Художник без зрячего сердца – слеп и жалок. Хотя на материальной стороне его бытия это отражается самым лучшим образом. Власть предрержащие, страдающие «синдромом чёрного пса», всегда своей верной собачке бросят под стол сахарную косточку.

Разве таланту нужен математический склад ума? Такой ум нужен математику, философу, экономисту, главному бухгалтеру, шулеру.

Когда во мне умер поэт? В семь лет? Нет, среди детей еще много поэтов. Очень много. Их поэтические души губят лицемерием и утонченным ханжеством позже. Как только душа

человека перестает смотреть на мир глазами удивляющегося всему существу в этом Божественном мире ребенка, как только он воспринимает цветок не как удивительное творение небесного Творца и Отца, а как пестики и тычинки, а «Евгения Онегина», как серийный маньяк, расчленяет на образы «лишних и не лишних людей», – поэт в нашей душе умирает раньше, чем успеваешь родиться.

Рождается хомо-сапиенс, человек разумный. В XXI веке – человек прагматичный. Инженер. Учитель. Преферансист. Менеджер, дилер или киллер. Уважаемый (или не очень) обществом гражданин. Но обязательно, как сын или дочь своего времени, – «человек прагматичный», «прогматикус-вульгарис», я бы сказал. А «обыкновенный прагматист» быть по-этом, то есть «необыкновенным человеком» быть не может.

Потому-то у нас на Аномалии нынче так мало настоящих поэтов. Потому-то так ценят (и так издают!) в наших аномалиях Нарциссов Тупорыловых, призывающих: «Медленным шагом, робким зигзагом, не увлекаясь, приспособляясь, если возможно, так осторожно, тише вперёд, мой славный народ!»

... Факт моей поэтической смерти случился тогда, когда наш классный руководитель назначила меня редактором стенгазеты... Да-да, именно тогда я впервые опубликовал свои стихи – напечатал их плакатным пером и тушью на листе ватмана. Лучше бы «нарисовал», но художественным ре-

дактором была назначена Маруся Водянкина. А она, как я уже отмечал, рисовала гораздо хуже, чем пела и плясала.

Сама героическая поэма о мальчишке-хулигане Пашке и героическом подвиге комсомолки Моргуши давно уже отлетела к созвездию Псов – стерлась из моей памяти. Но четверостишие каким-то чудом зацепилось за что-то:

Если Свапка разольется,
Трудно Свапку переплыть.
Если Пашка разойдется,
Трудно Пашу усмирить.

Маруся Водянкина изобразила Пашку акварельными красками: большая башка с выпученными глазами и ртом до ушей торчит посреди бурного ледохода.

Моргуша рисовала на три с минусом. Она никого не хотела смешить, подчеркивая героический пафос своего же поступка, одобренного педагогическим коллективом нашей школы. А получилось наоборот – смешно...

С берега к тонущему Пашке тянется чья-то хищная, необычайно длинная рука, чтобы то ли его утопить окончательно, то ли вытащить Немца за мокрые лохмы. Эта намализованная клешня совсем не была похожа на изящную ручку первой красавицы школы.

ЛЕДОХОД ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОГО

Иосиф Захаров о безумстве храбрых, которым не поют песни

В каждый ледоход мы, слободские мальчишки, прыгали по плывущим вниз по реке льдинам. Ледяные островки за лукоморьем вдруг резко набирали скорость. Они неслись к повороту, сталкивались и волчком крутились на Черном омуте...

Это считалось высшим пилотажем, оседлав самую быструю льдину, первым выйти к тому месту, где река разделялась на два рукава – старицу и новое русло, пробитое половодьем.

Картина была достойна кисти великого художника. Весеннее солнышко, осевший апрельский снег, живые черные прогалины дышащей первым теплом земли, треск крошащегося льда, визг девчонок на берегу, захватывающие дух прыжки по несущимся льдинам, сжимающий сердце долгожданный холодок в животе от безумного полета... Я бы испытал это еще раз. А потом еще и еще... Только нельзя на одной льдине прокатиться дважды.

Наверное, рассудительному, предусмотрительному человеку было жутко смотреть на наш ледоход. А мы, играя с норовистой рекой, а может, и самой смертью, устраивали ледяные гонки. И не пугали нас угрозы участкового, вызов роди-

телей в школу и быстрые на расправу отцовские ремни.

Мы не могли не геройствовать на опасной реке – весенним солнечным днем берег был усеян первыми красавицами. Девчонки вдохновляли слободских героев.

А в тот день, раскрашенный весенней акварелью, Моргуша вышла на берег в синем платье, накинув на плечи новенькую душегрейку, отороченную мехом куницы. Её дед, Вениамин Павлович по кличке Водяра, ловко проткнул охотившегося за курами зверька вилами в сарае. Пустили выделанный мех на Маруськину обновку. И она, понимая свою неотразимость, стояла под еще голой ивушкой, луская семечки. Ну, слободская купчиха (а может, и княжна) Мария Водянкина, Королева Марго – да и только!..

Мы все оглядывались на статную её фигуру. Ветер развевал ее шелковые кудри, а мы теряли головы и равновесие, и при лобовом столкновении оседланной льдины чуть ли не зубами вгрызались в свой самоходный островок. Но, засмотревшись на ослепительную. Слободскую красоту, зевали момент поворота – самый важный этап гоночной трассы ледохода. Не успеешь глазом моргнуть, а льдина уже зловеще кружится в шальном танце водоворота, крошится... Ледяное крошево, переливалась всеми цветами радуги на апрельском солнышке, сыпется колючим стеклом на мокрое лицо.

Запросто можно было искупаться в ледяной апрельской водице. Но чаще всего «торпеда» теряла скорость и застревала в бесформенном синем торосе на мелководье косы.

...В тот памятный мне день я выбыл из ледяных гонок первым. Оступился при первом же прыжке и подвернул ногу. Боль была не сильной. Наверное, я мог бы участвовать в этой безумной гонке на выживание. Наверное, мог бы, как теперь понимаю... Но то ли, и правда, было больно, то ли поддался дурному предчувствию... А может, подал свой беззвучный голос мой сторожевой пес – страх. И я выбыл из гонки, маскируясь травмой, и прихрамывая на больную ногу глубже, чем было можно прихрамывать.

Лед 65-го тронулся в апреле. И шел целых три дня. Другого такого ледохода я никогда в жизни не видывал. Хромая, кое-как добрался до берега, сел на какой-то чурбачок, недалече от толпы опьяненных весной гуляк.

Этот был Пашкин день. Он, как никогда, был очень близок к победе, восхищая «безумством храбрых» всех девочек нашей школы. Но у Черного омута льдина, которую он выбрал для победы, неожиданно развернулась против течения и лоб в лоб сшиблась с большим ледовым островом.

На том ледяном «материке» плыл чернявый парень по прозвищу Чертенюк – Степка Карагодин, сын и внук партизан-орденоносцев Карагодиных. Секретарь комитета комсомола школы не был трусом. Потомок Чингизхана, скуластый коренастый молодец, несмотря на кривые ноги потомственного кавалериста, нравился многим слободским девчонкам. С пацанами с Кухнаревского поселка, время от времени на-

бегавшими на слободу с кольями и кастетами, дрался «выступками», ногами то есть. (Тогда ни о каком каратэ мы и слыхом не слыхивали, а Чертенюк черным коршуном налетал на уже поверженного противника и пинал его ногами, издавая какие-то лающие звуки). Сильного и хитрого Степку Карагодина не любили. Но его боялись. В тот апрельский синий день до героизма моего друга ему было далеко...

Когда Паша оказался в воде, Степка подполз к краю своего острова, но руки не подал: то ли испугался, то ли растерялся Чертенюк... Только Степка что-то говорил Пашке, говорил... Никто не слышал, что именно. Скорее всего подбадривал тонущего «Вечного ученика»... Но Пашка на всю жизнь запомнил слова Чертенюка.

– Знаешь, Захар, что Чертенюк мне сказал тогда?

– Ну, говори!

– Он спросил меня: «Как водичка?».

– А руку? – удивился я. – Руку помощи тебе наш комсомольский вожак не подал?

– А зачем? – серьезно посмотрел на меня друг. – Я бы её не принял. Иудина рука – коварная рука... Как и его поцелуй. Потом бы по всей Аномалии разнёс, что он меня от смерти спас. Для меня такое спасение было бы хуже смерти.

Дома мама и бабушка заставили меня выложить всю подноготную.

– Говори, как Пашка чуть не утоп? – в один голос требовали они.

А случилось вот что. Пока Пашку вешним бурным течением полной воды несло к Черному омуту, откуда выбраться было невозможно. Маруся Водянкина заламывала, заламывала в тоске руки да как бросится по неверным и скользким льдинам к Пашке. Девочки хором ахнули, готовясь к худшему. Но Моргоша, показывая скрытый талант циркачки, в пять прыжков добралась до барахтавшегося в ледяном крошеве Павла. На стремнине даже ухватиться за крутящуюся мокрую голову было не так-то просто... Только за лукоморьем Водянкина поймала героя за хлястик пальто. (Как хорошо, что хлястики в то время на Краснослободском филиале фабрики «Большевичка» швей-мотористки присобачивали на совесть, это вам не китайские пуховики нынче шить по подвалам!).

Павел долго хворал, температурил, перхыкал, глотал микстуру и пилюли, пока окончательно выкарабкался на берег... Конечно, думали мы, батя – бывший партизанский врач. Он и не таких на ноги в Пустошь-Корени ставил... Лежи себе, пей чаёк с малиновым вареньем... Ни уроков тебе, ни Тарасов – лафа.

Но сильнее завидовали мы Пашке по другому поводу. В дом Альтшуллеров, находящимся по соседству с нашей хатой, зачастила Маруся Водянкина. Они, видите ли, вместе делали уроки. Чтобы этот Шулер не отстал от программы...

Про Марусиного деда, первого колхозника «Безбожника», мы, под руководством Анки-пулеметчицы, писали со-

чинение на «свободную тему»: «Первый колхозник Красной Слободы».

Учителя, держась политической линии, всячески поощряли пафос и разные умные цитаты о «советском коллективизме».

В десятом классе Тарас Ефремович и Анка-пулеметчица пригласили на очередное внеклассное мероприятие с политуклоном Вениамина Павловича Водянкина. Был он уже очень стар. И, как всегда, «выпимши»...

– Вы, ребята, главное активно спрашивайте нашего уважаемого ветерана, – инструктировала нас Анна Ивановна. – Придет время – и партизана в Слободе днем с огнем не найдешь... Вымирают они со скоростью света.

Мы старались спрашивать. Но Вениамин Павлович ничего не помнил. Даже свой год рождения.

И тогда Маруся, часто-часто моргая глазами, готовая разреветься на важном мероприятии, подхватила деда и сказала:

– Грех так над живым человеком издеваться!..

И всем стало неловко от слов Моргуши. Всем, только не нашему директору.

Он перехватил Водяру (так прозвали Вениамина Павловича еще на заре советской власти) у внучки и повел его в свой кабинет. Там два славных «мстителя» вспоминали минувшие дни... И когда из директорского кабинета послышался хрипловатый голос Бульбы: «Я был батальонный раз-

ведчик, а он писаришка штабной!.. Я был за Россию ответчик, а он спал с чужою женой...», Моргуша фурией налетела на гостеприимного Шумилова. Боевой дед был отбит молодыми, превосходящими врага силами. И уведен домой с тем самым почетом, который еще остался у Водяры после внеклассного мероприятия.

Чуть позже, когда я буду через лупу разбирать фотокопии подаренных мне Пашей страничек «Записок мёртвого пса», я наткнусь вот на эти строки Фоки Лукича Альтшуллера:

«УВИДЕЛ ЧЁРНОГО ПСА, ЗНАЙ – БЕДЫ НЕ МИНОВАТЬ

Из «Записок мёртвого пса»

Это большое заблуждение, что русские пьют, заливая водкой свою неизбывную тоску. Ложь, что наибольшее удовольствие для нашего народа – опьянение. Иначе – забытьё. Мол, русским надо грезить, чтобы быть счастливыми...

Слободчане чаще пьют от страха. Перед жизнью. Перед смертью. Пьют, страиась прошлого. Боясь будущего. Страх этот сидит в подсознании, которую иностранцы называют «русской тоской».

Я неплохо знаю Вениамина Павловича Водянкина. Наблюдаю его как доктор и до сего дня. О чем может рассказать мне, лекарю, в свое время закончившего военно-медицинскую академию, его генная память? Да вот о чем. От страха пе-

ред кнутом барина пил его отец, раб в седьмом колене. Порой он буянил, дрался, даже бунтовал и геройствовал. Но всё это от страха. Жизни боятся все – и крестьяне, и мещане, и дворяне. От страха же перед Сибирью пьют все. Простой слободчанин, униженный рабством, хамством, глупостью, самодурством и беззаконием сегодня боится нового лиха – всеобщих доносов. Когда сосед иудствует против соседа.

Новая власть привила слободскому народу и эту заразу.

А «продразверстка», «коллективизация» и прочее «необходимое зло» проводятся только с одной целью: сломить, сломать хребет тем, кто еще не потерял чувства собственного достоинства. У кого в глазах еще теплится огонь свободного человека, а не покорного, смиренного раба. Потому как в Слободе, куда после революции меня закинула судьба, кулаков, то есть зажиточных крестьян, эксплуатировавших бы своего соседа, не было и нет. Ломают через колено тех, кто каким-то чудом, спасаясь от своего страха, сохранил хоть какую-то хозяйственную и человеческую самостоятельность и независимость.

Водяра, Вениамин Павлович Водянкин, намедни клался на мельнице, что видел за околицей, у убранного ржаного поля, чёрного пса, от которого на стерню сыпались красные искры. Был Водяра с ружьём – ходил куропаток пострелять, да ни одной не подстрелил. А когда этот пёс, по его словам, «с полугодовалого телёнка», сверкая глазищами выбежал из яруги, то Венька не удержался, зарядил патрон с картечью

и выстрелил в это мерзкое существо. Видел, как весь заряд вошёл в собачину, но той хоть бы что. «Быть беде в нашем околотке! – заключил свой рассказ Водяра. – Чёрный пёс предупреждает. Дурной знак, братицы».

Вчера комбедовцы ходили на очередное раскулачивание. Горе, на кого положат свой взгляд, эти «опричники» из Слободского комитета бедноты... Ходили к Соловьевым, Морозовым и Захаровым... Потом началась запись в колхоз».

Глава 7

ЛЕГЕНДА О ПЕРВОМ КОЛХОЗНИКЕ

Мифотворчество Иосифа Захарова

Жаль, что я не сохранил свое школьное сочинение «Первый колхозник Красной Слободы». О Вениамине Павловиче Водянкине писал и я, и его внучка Маруся, и мой друг Пашка – весь наш класс, словом. И только Моргуше Анка-пулеметчица поставила тройку – за не раскрытый образ своего деда.

Я и Паша получили отличные оценки. Да и другие ребята не подкачали. А как же! Старались на всю катушку. Ведь о «первых», как о покойниках: либо хорошо, либо ничего. Это аксиома. Иначе – не поймут. Такая вот «своя» правда. Одна – для Петра I и Екатерины I. А другая, истинно народная – для «Собрания анекдотов царского шута Балакирева».

Мы уже тогда знали: настоящая правда та, что для «собрания анекдотов». Царева правда всегда кнутом и эшафотом

попахивает.

Мне эту «шутовскую», истинную правду, рассказал мой отец – Клим Иванович Захаров. У Моргуши до сих пор есть своя «версия» этому факту. В сочинениях ввали высокопарно и торжественно, что вообще является первым признаком любой печатной (или написанной) лжи.

Я расскажу, как слышал эту историю от моего отца. Конечно же, в своей, писательской, интерпретации. Ибо бывают странными мои писательские сны, но на Яву страннее.

...День был осенний, промозглый. Ветер сек холодным дождем согнанных к сельсовету слободчан. Водяра был в одной калоше на босу ногу, другую потерял по пути к сельсовету. Из кармана его рваной фуфайки торчало горлышко синей бутылки, кое-как заткнутое скрученной из газетки пробкой. Венька, слывший в молодости первым конокрадом в округе, потом первым пьяницей, готовым последнюю рубаху снять, чтобы угостить близкого и дальнего своего. В Слободе это почиталось в равной степени.

Посадские слободчане, самые бедные и отчаянные по своей малоимущности люди, знали: Председатель комбеда Петр Ефимович Карагодин загодя подготовил Водяру к этому торжественному шагу – первому вступить в колхоз. Так мало того, утром принес бутылку на опохмелку. Только строго-настрого наказал: больше стакана не пить! Вот пример осталь-

ным покажет, запишется в «Безбожник» первым, – тогда, мол, пей до у...у.

Название колхоза – «Безбожник» – придумал предкомбеда Петр Карагодин. Он же выдумал себе особую должность, которая, по его мнению, придавала «весу и значимости его фигуре в глазах слободчан». Должность эта называлась – Главантидер. Писалась с заглавной буквы. А расшифровывалась так: Главный антихрист деревни. Придумал он этого Главантидера не с большого бодуна. Вычитал в какой-то оборванной на самокрутки газетке отрывки заметок о каком-то «Антидюринге». Кто был этот самый «Антидюринг», Петр Ефимович, конечно, не знал. Да и знать не хотел. А вот само заковыристое словцо с приставкой «анти» ему очень приглянулось.

Но слободчане в силу своей вековой темноты и суеверий побаивались звать Черного Петруху (такую кличку ему дали еще до революции) страшным словом «Главантидер». Ему, черту, что! А у нас начнет скотина подыхать, хлеб из колосьев на землю осыплется, в кузне горн погаснет... Антихриста только покликай!

– Ну, кто самый смелай? – вынося под дождь комбедовский неподъемный стол, давно изъеденный червем, с вызовом спросил народ Главантидер. – Записывайся першим!

– Иде тута крестик поставить? – икнув, спросил Водяра.

– Про крестики теперь забудь! – рыкнул на него Главантидер, отворачивая хищный нос от перегарного дыхания Во-

дядры. – Палочку поставишь в первой графе, коль расписываться не умеешь.

Водянкин хитро улыбнулся:

– Палку я не графе, а жёнке поставлю... А тута – крестик.

Угрюмый народ молчал. Знал, что записывать будут под номерами. А потом, будто бы, имена слободчан упразднят вовсе, оставив для удобства коллективного руководства только данные при записи номерки.

– Чего молчите? – спросил Черный Петруха. – Вразумите сваго товарища. Он еще вчерась жалал быть первым колхозником. А нынче безграмотным прикидывается. А в церковно-приходскую школу два года ходил. Я все знаю про каждого!

– Палыч! – отозвался Васька Разуваев, бывший матрос с эсминца «Быстрый». – Жане и дурак поставить... – А ты графе поставь, как Черт приказывает...

– Не согласен я! – замотал мокрой головой Вениамин Павлович, тупо глядя на босые ногу. – Енто к чему честного человека принуждають? А?

От холода его губы посинели. Он достал из кармана бутылку, крепкими кукурузными зубами выдернул пробку и сделал три крупных глотка, запрокинув голову.

– Брр!.. – по-собачьи замотал он головой, отчего брызги полетели на первые ряды и самого председателя «Безбожника». – Во, пошло тепло по жилкам и кишочкам, теплее, теплее...

– Ставь, сучье племя, хоть палку, хоть какой! – сквозь зубы процедил Петр Ефимович. – Не то яйца оторву, собака! Ты речь пламенную, как я тебе наказывал, слободчанам приготовил?

Водяра почесал мокрый затылок, обвел мутным взглядом слободчан, согнанных к избе сельсовета для добровольной записи в колхоз, и лукаво подмигнул Главантидеру:

– А как же, товарищ председатель «Безбожника»!.. Речь, хучь головой в печь!

Народ засмеялся. Это не понравилось Петру Ефимовичу: известное дело – один слободской дурак всё святое дело целой партии может опозлить.

– Ладно, давай без речи... Дома девкам своим с печки ее скажешь, – кивнул Карагодин.

Водянкин помолчал, собираясь с мыслями и предложил:

– А давайте наш уважаемый колхоз назовем как-нибудь по-другому... Как зоринские мужики, к примеру – «Новой зарей»!

– Ежели две «Зари», то одна из них явно не новая, – возразил Петр Ефимович.

– А «Безбожник», значит, новый? – покачиваясь с пятки на носок, спросил Водяра.

– «Безбожник» – новый, – хмуро ответил Карагодин, катая желваки на крутых скулах. – Будешь, гад, першим али как? Али гони взад самогонку, что Гандониха нагнала к банкету! Думаешь, мы тебя за твои зеленые глаза комбедовской

самогонкой поили?

– Ничего я не думаю... – улыбнулся хитро Водяра. – Ты назначен волостью председателем «Безбожника» под фамилией ентого... антихриста, прости Господи! Ты и думай! Тебе за енто паёк полагается.

Слободчане хихикнули. У многих посадских даже бурчать в животах перестало. От голода. А Карагодин обещал каждому вступившему в колхоз по полмешка прошлогоднего овса. Да по доброй чарке самогонки, который гнала для своего подпольного шинка жена слободского матроса Васьки Разуваева со странной для тех времен прозвищем – Гандониха. Да, может, от щедрот своих «продразверточных» и хлебцем, огурцами солеными угостят честной слободской народец... Так что же Водяра ерепенится, время затягивает?

– Так ты, товарищ Водяра, записываешься в «Безбожника» али нет? – сводя густые брови к переносице, грозно спросил Главантидер.

Народ начал на Вениамина Павловича пошумливать – под дождем мокнуть не было никакой мочи.

Водяра неторопливо извлек из фуфайки почти допитую бутылку самогона, сделал несколько крупных глотков, отчего острый кадык хищно заходил вверх-вниз по тонкой жилистой Венькиной шее, потом крякнул, занюхав вонючую бураковку рукавом фуфайки. Пустую бутылку, как ручную гранату, он бросил под комбедовский стол.

– А закусить дашь? – спросил Водяра. – Али опять крас-

ный кукиш сунешь под нос?

– И закусить дам! – ответил Петр Ефимович. – Гляди, не подавись токмо, когда дармовой хлеб жрать станешь.

Водяра зажмурился и отошел от стола.

– Хрен редьки не слаще...

Водянкин повернулся лицом к народу, поклонился землякам в пояс:

– Народ честной! Так записываться в «Безбожника» али ишшо повременить?

– Пишись! Чё терять? Тузик в будке да голод с пробудки... Хуже, авось, не станет! – слышались голоса посадских соседей.

– А Тузик?.. Он «за» али «против»? Тузик! Тузик! К ноге!

Верный Тузик лохматым клубком кинулся под ноги хозяйина.

– Тю-ю!.. – удивился Васька Разуваев. – Та пес не в тебя, Венька!.. Молчун у тебя пёс твой! Не брешеть, как ты!..

– У него силов брехать нетути, как и хозяин с прошлой Пасхи не жрамши!.. – отозвался кузнец Ванька Сыдорук, подтягивая на худом животе вечно сползавшие портки.

Никто из будущих «безбожников» не засмеялся: над «голодной» правдой в Слободе смеяться было не принято.

Петр Ефимович обмакнул перо в пузырек с чернилами, зажал в огромный кулачище школьную ручку, капнув кляксой на амбарную книгу, заматюкался:

– Ну, харя твоя немытая... Входи в историю! Потом внуки

о тебе сказки будут слагать...

Водяра опешил от таких неожиданных слов, снова отступил от амбарной книги с уже проставленными в ней номерами слободчан – будущих «безбожников».

– Я буду першим! – вдруг вывалился из толпы Васька Разуваев. – Мне и моей семье тоже терять нечего...

– У нас и Тузика нету!... – поддержала мужа жена, скандальная баба, прозванная слободчанами Гандониха. (В те годы мало кто в Слободе толком знал, что это слово обозначает. Васька Разуваев, служивший в свое время матросом на эсминце «Быстрый», привез в родную Слободу несколько презервативов. Противозачаточные средства в быту слободчан так и не прижились. Но Васькины «гандоны» народ запомнил – Разуваев показывал «резиновую защиту» всем от мала до велика. И даже надул два больших белых шара, которые полдня летали над Слободой, потом зацепились за ветки деревьев и лопнули. В честь этих белых шаров и прозвали жену Разуваева Гандонихой. Помню, как опростоволосился их внук, учившийся со мной в одном классе, когда сказал Шумилову на уроке истории, что в Венеции «все плавают на гандонах». На что директор вполне серьезно ответил мальчику: «На гандонах не плавают, а летают»).

– Молчи, Гандониха! – испугался конкуренции Водяра. – В чужих руках хрен завсегда толще кажется!.. Самозванцам встать в строй!

Венька, опережая других любителей «халявы», поставил

свою подпись в амбарной книге учета «безбожников».

– То палочку, то галочку, то крестик... – недовольно бурчал Водяру. – Потсавлю лучше-ка я подпись...

И поставил жирную кляксу от напряженности и ответственности исторического момента.

– Вот тебе, Черт, не галка, а цельная ворона! – закричал он, дуя зачем-то на перо комбедовской ручки.

Петр Ефимович со злостью вырвал у него ручку, макнул перо в чернильницу и, тяжело вздохнув, вывел каллиграфическим почерком: «Нумер 1 – В.П. Водянкин». И сам расписался за Водяру – какую-то закорючку поставил.

Потом почесал за ухом. Написал: « Нумер 2».

Зычно крикнул:

– Нумер два! Разуваев с Гандонихой! Подходи к столу!

Это уже много позже он будет кричать на наряде: «Нумер шастнадцатый! В коровник! Нумер двадцать осмой – на гумно! Нумер перший – запрягай соловую кобылу!». Коротко и ясно. Водянкину же его номер, что елей по сердцу: первый! А первому человеку, как и первому гостю, в Слободе завсегда кусок послаще и пожирнее...

Вениамин Павлович Водянкин, первый колхозник «Безбожника», прославился не нашими сочинениями. Про Водяру в Краснослободске и по сей день ходят легенды, очень похожие на добрые анекдоты про Чапаева. Раньше про любимых героев народ слагал песни, но когда слова из песен

стали выкидывать, стал складывать анекдоты. Здесь необъятное поле для творчества – хочешь выкидывай материнское слово, а хочешь и добавляй. Дело вкуса каждого рассказчика. То есть творца. Про Водяру каждый рассказывает с доброй улыбкой. Значит, добрая о человеке память живет на созвездии Малого Пса. Добрая и долгая. Пусть те, кому ставили бюсты еще при жизни, позавидуют героям из народных былинных анекдотов...

И я очень горжусь, что моя жена Моргушка – его родная внучка. Восьмая или девятая по счету, сама порой сбивается со счета.

На днях сделал я одну очередную глупость. Когда написал «Легенду о первом колхознике», то дал почитать эту главу двум своим близким людям: Пашке и Марусе. Жена, являющаяся близким родственником покойного (лица исторического), вдрызг раскритиковала мой реалистический образ своего деда. И потребовала, чтобы я написал о Вениамине Павловиче, как о достойном гражданине, патриоте прекрасной Слободы. И, мол, не обязательно кличку его вспоминать! И лучше описать не этот «факт» (она так и сказала – «факт», что не косвенно, а прямо подтверждает глубокий фактический историзм этой главы), а «случай», когда её деда, работавшего перед войной и после великой Победы председателем слободского сельпо, наградили медалью «Партизану Великой Отечественной войны».

– Ну, наградили и наградили... «Дорогого Леонида Ильи-

ча» вон сколько раз награждали. А чем, никто уже и не помнит, – сказал я.

– Мне интересно! – заплакала Моргуша. – Мне надо, чтобы о моем деде осталась только светлая героическая память! И ты не смей касаться его своей этой... правдой! Она его унижает.

Жена промокнула слезы платочком и добавила, цепляясь со мной же не на шутку:

– Это ты про своего деда Ивана всякую грязь пиши! Как он по пьянке спалил правление колхоза и сам в нем сгорел!

– Как? Как ты сказала? Да, Господи... Это же всё вранье! Не так это было. Не так...

К какому-то празднику, кажется, на Октябрьскую, наградили моего деда, тоже такого же партизана, как и Водяра, комплектом грампластинок с записью частушек Мордасовой. За образцовое исполнение своих караульных обязанностей. А патефона у дедушки не было. Мы жили не богато. Какой там патефон – не до жиру... Зато патефон был в правлении. И дед Иван во время своих дежурств любил послушать любимые народом частушки. Но кто же их слушает «на сухую»? Вот и выпил... Раз, другой... На третий перебрал и уснул у открытой дверцы печи. Сунул туда полено, чтобы согреться, когда к утру градус стал уходить. Да так и уснул на век, свернувшись калачиком, на загнетке...

– Бог ему судия, а не ты, Маруся! – сказал я распалившейся в споре жене своей.

– Да у вас вся семья такая была... – бросила Моргушка в меня комок грязи. – Все невезучие. Будто проклятые какие. И безногий дядька твой Федор, и отец твой леворукий...

– Не трогай моего отца! – замахал я руками, спуская своего пса с цепи. Он тоже герой-партизан!

– А в тюрьме с сорок третьего чего парился?.. У нас, сам знаешь, просто так не сажают...

– Замолчи! Судьба у него такая.

– Я и говорю – проклятые... Проклятие на вас висело. И сейчас висит. Ты-то в Захаровых пошел. То в школе преподавал историю, потом редактором «Слободских зорь» сделали... А за два года до пенсии «скрытым безработным» сделался...

– Не «сделался», а сделали...

– Какая разница? Ладно, Сашка – отрезанный ломоть. Сам с усами. А Сенька? Кто мальчика кормить будет? На мою нищенскую зарплату мы и вдвоем с тобой не протянем. Ты об этом подумал, когда тебя Степан Григорьевич вызывал для серьезного разговора?

– Подумал...

– Плохо думает твоя седая башка! Стар стал, а спеси, как у молодого... С властью задумал тягаться. Так у сильного всегда бессильный виноват.

– В доме повешенного, Мария Алексеевна, не говорят о веревке...

– А я не о веревке! Я о помощи нашему студенту, кото-

рому в Москве еще два года учиться. Или что? Бросить ему все, потому что, видите ли, Иосиф Климович хочет во что бы то ни стало доказать свою правду Степану Григорьевичу... В жизни, конечно, всегда найдется и место подвигу. Но твой будущий подвиг – это не эта твоя писанина, по запискам сумасшедшего старика. Твой подвиг – это вернуться в редакцию. Или, на худой конец, в школу. Благо, место директора свободно.

Я, схватив рукопись, бросился к соседу справа – Павлу Фокичу Альтшуллеру. Мне повезло, он был не на дежурстве. С кислой миной смотрел матч нашей сборной по футболу с каким-то именитым европейским клубом.

– Всё, Паш, не могу больше... – признался я. – Не могу, понимаешь?

– Понимаю, – взяв в руки рукопись, сказал он. – Знаешь, что Пушкин написал в поэтическом послании Батюшкову?

– Нет, – ответил я.

– «Бреду своим путем:

Будь всякий при своем».

Он поднялся, куда-то сходил. Доктора Шули не было где-то с полчаса.

– Ты никак позабыл обо мне?

– Да нет... Помню.

В руках он держал то, о чем чя так мечтал еще в школьные годы, – «бурдовую тетрадь» своего отца. «Записки мёртвого пса».

– У тебя же несколько листочков фотокопий... Теперь возьми вот это.

Он протянул мне амбарную тетрадь с грубо намалеванным на первой странице названием – «Записки мёртвого пса».

– Созрел, как ты говоришь?

– Бреди своим путем... Только треть «запретной книги Лукича» я все-таки оставляю у себя. До лучших, так сказать, времен.

– Так сейчас другие времена. Говори, пиши, что хочешь...

– Бывали времена трудней, но не было подлей...

– Лады. Хозяин – барин. Есть хочешь?

– Голод – не Моргуша, пирожка не даст.

И в это время затарахтел его телефон. Я знал, что звонит Моргуша.

– Да, – сказал в трубку Павел. – Конечно, на обед сейчас придем. Мы тут футбол смотрели... Если не дано, Марусенька, то никакой волшебник нас из болота за волосы не вытащит. А твоему муженьку, кажется, дано... Нет, нет... Не кажется. Жди, разогревай, идем!

Он положил трубку и спросил:

– Тебя в детстве мамка с печки не роняла, случайно?

– Ни случайно, ни специально не роняла, – ответил я.

– Зачем жену обижаешь? Или у тебя их много, как у восточного падишаха?

– Всего одна, – ответил я. – И то воспитатель детского

сада...

– Тем более, воспитателей надо беречь. Кто о будущем позаботится? Ящик этот? – он ткнул пальцем в телевизор. – Улица? Криминальная Россия?.. Гомосексуалисты? Политические проституты? Будущее ведь в руках воспитателя детского сада. Глупое государство этого не понимает. Потому и зарплату платит им меньше, чем дворнику. А зря... Какой мерой мерите, такой и вам, господа, отмерено будет...

– Болтун подобен маятнику, – подал я с вешалки другу кашне, – и того и другого надо остановить.

– Ладно, товарищ Иосиф, не тирань жену и соседа! Идем есть борщ! Маруся уже, наверное, разогрела.

– К борщу чего-нибудь есть? – спросил я.

– Есть, да не про вашу честь... Сладкая жизнь когда-то заканчивается и у литераторов.

– Я пробочку только понюхаю... Важен, Паша, сам ритуал...

В наш дом я вошел умиротворенным.

– Душа моя! – позвал Марусю, с удовольствием втягивая носом кулинарные ароматы. – Моргушенька!.. Где ты? Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость погибшую мою...

Она вышла в прихожую с кухонным полотенцем в руках. Свежая и похорошевшая после нашего скромного семейного скандала.

– Ходил искать по свету, где оскорбленному есть чувству

уголок? – спросила жена с улыбкой Джоконды на губах.

– Показывал, что посеял, – снимая ботинки, ответил за меня доктор Шуля.

– Главное, что пожнет... – вздохнула Моргуша.

– Пожнет то, что посеял, – лукаво подмигнул мне Пашка. – Сейте разумное, доброе, вечное... За спасибо сейте.

– А почему, скажи мне, Паша, писателям зарплату не платят... Вот вам, врачам, платят, а им – нет? – снова стала взбираться на своего конька-горбунка супруга.

Пашка засмеялся:

– Наверное, потому, что глас настоящего писателя есть глас Божий. А Богу у нас платить не принято. У него все сами милости и прощения просят...

Павел Фокич прошел в моих тапочках в большую комнату и торжественно поставил на стол бутылку портвейна. На этикетке были нарисованы цифры «777».

– Господи!.. – всплеснул я руками. – Из прошлой жизни! А портвейна «666», трёх шестёрок, сегодня не выпускают? Нет? Странно...

– Писателям не наливать, – посерьезнела жена моя, Мария Алексеевна, в девичестве Водянкина. – У него сахар. И завтра, к восемнадцати часам его вызывает на беседу Степан Григорьевич...

– Не вызывает, а приглашает, – поправил я. – Пусть он вызывает свой аппарат.

– Наградит золотым пером, небось... – издеваясь над мо-

ей жизненной ситуацией сказал Паша. – За это долгожданное событие в жизни всех истинных писателей земли русской нужно обязательно выпить.

Он отворил дверцы старинного буфета, который Моргуша давно пыталась выбросить на помойку, достал оттуда винные бокалы богемского стекла.

– И виновнику торжества – чуть-чуть... Чисто символически, – он разлил «дореформенный» портвейн по рюмашкам. – Это очень помогает человеку в познании самого себя. А если писатель познает самого себя, то что тогда ему стоит познать и весь мир!..

Маруся принесла закуску и подняла свой бокал.

– Мальчики! – улыбаясь, сказала она. – Как это хорошо, как здоровски, что вы пронесли дружбу с нашей школьной поры и до сегодняшнего дня... И в радости, и в печали...

– Моргуша, – перебил Павел. – Не говори красиво... Сегодня это не в интеллигентном обществе. Сколько раз выступающих на ток-шоу по телеку запикивают за одну передачу? И не счесть. А каждый «пик-пик» – это матерное слово.

– За что выпьем? – спросил я, переводя разговор в нужное русло.

– За вас, за людей с роковыми судьбами! – поднял бокал Паша.

– Это почему – с роковыми? – насторожилась супруга.

– Это я так, Некрасова вспомнил... – протянул мой верный товарищ по жизни. – «Братья-писатели, в нашей судьбе

что-то лежит роковое...»

Он чокнулся с Марусей и подмигнул ей:

– Если нет, Моргушенька-душенька, этого «чего-то рокового», значит, писатель – не настоящий.

– Проверка на дорогах, – вздохнул я.

– Нуда веритас, как говорим мы, образованные здоровые люди, – ответил Паша.

– Что это означает, Немец? Переведи! – попросила жена.

– Голая правда, – ответил он. – Не приукрашивай её, старичок, когда будешь ностальгировать о светлом прошлом, писать о скользком настоящем или думать о незнакомом будущем... И о нашей «юности печальной» пиши, как Бог на душу положит. Без прикрас и этих романтических прибабасов...

Он, чувствуя, что тост явно затянулся, добавил скороговоркой:

– Кстати, когда будешь с «бурдовой тетрадкой» работать, не увлекайся, пожалуйста, метафорами и прочими эпитетами. Истина ведь в украшателстве не нуждается. Античные скульпторы, я это читал в толстой умной книге, истину всегда изображали в виде обнаженной женщины.

– Прекрасной женщины? – поинтересовалась Моргуша.

Паша грустно улыбнулся:

– А вот об этом там ничего сказано не было... – он выпил и добавил: – Но, думаю, все-таки по-своему прекрасной. Потому что только нам, русским, известно, что красота спасет

мир.

Глава 8

СЛАБОЕ МЕСТО ТЕЛЬЦА – ГОРЛО

Иосиф Захаров о женской красоте, конформизме и творческих компромиссах

Когда после апрельской ледяной купели Пашка окончательно поправился и пришел на занятия, Анка-пулеметчица дала мне комсомольское поручение – сделать спецвыпуск школьной стенгазеты.

– Нарисуйте «героя» в кавычках, сочини соответствующие политическому моменту стихи, Захаров, – станковым пулеметом протарахтела классная дама. – Ты это сделаешь, уверена, на нужном идейном, политическом и художественном уровне. В помощницы, как всегда, себе возьми Водяркину.

– Нашли тоже мне художницу... – буркнул я, мучаясь от того, что «изобразительная часть» стенной газеты, которую я редактировал, всегда получалась хуже её литературной части.

– Я сказала, Водяркину! – повысила Анна Ивановна голос и от волнения исказила Марусину фамилию. Я тут же решил, что классная мадам сделала это нарочно.

Анна Ивановна почему-то недолюбливала всех красивых девочек школы. Это была та самая голая правда, о которой

Пашка прочитал в одной толстой и умной книге. Хотя однажды, когда ставили на школьной сцене пьесу Островского «Лес», поняли почему. Там Несчастливцев говорит об одной женщине: «Она уже старушка; ей, по самому дамскому счету, давно за пятьдесят лет».

У Анны Ивановны к молодости и красоте был свой «дамский счет».

А тут еще Марусино «легкое дыхание»... Так выразился я на уроке литературы, сравнивая Марусю Водянкину с героиней бунинского рассказа.

Анка-пулеметчица залепила мне тогда «посредственно», признав, что мое сравнение ни в одни ворота не лезет. Она прямо-таки задохнулась от чужого «легкого дыхания».

– Художник нарисовал в этом рассказе совершенно другой образ! – поучала меня Анна Ивановна.

А я вот рисовать не умел. Водянкина на моем фоне антихудожественном фоне хорошо смотрелась даже со своими средними способностями. И оформить спецвыпуск школьной стенгазеты поручили именно ей.

Я поставил перед ней сверхзадачу по Станиславскому: «изобразить акварельными красками героическую драму в районе нашего лукоморья на великой русской реке Свапа». Что-то в духе плакатов общества спасения на водах.

Моргуша мою «сверхзадачу» поняла в меру своего изобразительного таланта. Рядом с ее озарением даже именитые Кукрыниксы рядом не стояли.

Пашка был почему-то не худ лицом, как в жизни, а больше походил на румяного, печеного на сметане и масле, колобка. Возможно, решил я, художник-передвижник хотел изобразить уже набухшего водой утопленника. Но Шулер-то не утонул. А если бы утоп, то не был бы таким румяным. Что за импрессионизм?

Меня шокировала и чья-то хищная рука, тянувшаяся с берега к Пашкиной голове. Рот у моего друга был от уха и до уха. Как у деревянного мальчика Буратино. Он не то улыбался улыбкой утопленника, не то «во весь рот» звал на помощь работников ОСВОДа.

Короче, я вдрызг раскритиковал работу художника Водянкиной. И мы, разумеется, крупно поссорились.

Я взял картину на листе ватмана домой и долго страдал над оставленным для моего поэтического текста местечком. Нужно было сюда вписать поэму о Пашке и героической девочке из нашего класса, спасшей ему жизнь. С Пашкой было легче. Его образ ложился на бумагу без проблем. С Моргушей я был в разводе. И потому никакие героические эпитеты к ней не подбирались.

А ведь я намеривался написать героическую поэму. Эпическую эпопею. Как говорил Пашка, «опупею». Моя сверхзадача была обречена на провал.

Поначалу я планировал написать вместо эпитафии: «Комсомолке Марии Водянкиной посвящается». Но после этих слов сами собой напрашивались годы ее жизни. Выходи-

ло, что «героическая комсомолка» погибла, спасая чужую жизнь. А это противоречило правде жизни.

После бессонной ночи я, злясь на самого себя, наконец-то понял, что даже нелюбимого мною Демьяна Бедного из меня никогда не получится... Исписав тетрадку вариантами четверостиший, я наконец-то удовлетворился одним, где «Свапка разлилась», а «Пашка разошелся»... Было и героически. И правдиво. И в меру художественно. Посвящение же убрал вовсе, решив, что общешкольная стенгазета – не могильный камень: тут не место всяким эпитафиям.

Мои стихи, написанные по принципу «как Бог на душу положил», Шулеру неожиданно понравились. Он сказал, что даже бы Лев Толстой написал в сто раз хуже. Если бы, конечно, вообще граф писал стихи...

Но мой поэтический опус оказался слабым в «идеологическом плане». Анка-пулеметчица тут же отредактировала их со своей «кочки зрения».

– «Во-первых, – сказала Анна Ивановна, – образ Свапы, средней реки в Средне-Русской возвышенности, нарочито снижен автором. Что это еще за «Свапка», Захаров? Ты обязан любить свою великую Родину. А на Родине всё величаво: и леса, и поля, и реки, и, что вытекает из вышесказанного, человеки... То есть люди. Во-вторых, Павел Альтшуллер с его базарным (она, наверное, хотела сказать «базаровским») нигилизмом – не лучший прототип для героического образа.

Она поправила очки-велосипед на тонком арийском носу,

спускавшейся у нее к самой верхней почти впритык. Сказала мне, автору героической поэмы и редактору спецвыпуска, с фальшиво звучащими дидактическими нотками в голосе::

– Я понимаю, что сейчас Павел Альтшуллер, в силу некоторых жизненных обстоятельств, проживает в вашей семье, Захаров... Но кто нам, Захаров, позволит в средствах массовой пропаганды, каковым является общешкольная газета, разводить семейственность?

– А при чем тут семейственность? – сказал я. – Паша у нас временно, на время болезни его отца...

– Это «временно» уже растянулось на три года, – будто обижаясь на мое определение, ответила она. – Таких, как Фока Лукич, лечат долго и основательно. Поверь мне на слово.

– Верю, – почему-то вырвалось у меня. И в довершение ко всему еще и громко чихнул, что особо рассердило Анку-пулеметчицу.

– Простите, – извинился я. – У нас в семье давно все чихают. Еще со дня моего рождения... – сказал я Анне Ивановне вежливо и тактично. – Понимаете, сырость сорок восьмого пропитала все члены моих родителей. Потому-то и я таким сырым получился...

Анна Ивановна подняла на лоб очки:

– Хочешь, чтобы я отца к директору вызвала?

– Не хочу, – честно признался я.

– Тогда молчи. И перделывай свою «героическую поэ-

му». Как я сказала!

Я понял: придется наступать самому себе, своей песне, на горло. А так как я по знаку зодиака – телец, то горло у меня, как и у всех тельцов мира, – слабое место.

Но почему-то с официальной школьной цензурой я не стал спорить. Может, боялся. А может, понимал, что лбом стенку не прошибешь.... (Хорошо было Пушкину! У него в цензорах сам царь ходил!...).

И я наступил своей песне на горло. Глотая полынную горечь первого творческого компромисса, я зачеркнул про то, «как если Свапка разольется, то трудно Свапку переплыть...» И про то зачеркнул, как «если Пашка разойдется, то трудно Пашу усмирить»...

А в итоге после острого красного карандаша Анны Ивановны получилось что-то вторичное или даже третичное:

*Широка Свапа моя родная,
Нет нигде таких чудесных рек,
Потому веселая такая:
Не утонет в Свапке человек.*

Вот так, с первой попытки опубликоваться, я понял, что такое цензура. И подтвердил мысль классика, что жить в обществе и быть от него свободным не может никто! Даже писатель. Будь он Пушкин. Или, на худой конец, граф Лев Николаевич Толстой.

Я потом долго и путано объяснял своему другу, почему так изменилась моя «героическая поэма» и что сделали с тельцом, наступив ему на горло.

– Ты какого апреля родился? – спросил Паша.

– Двадцать первого, – ответил я.

– Между Лениным и Гитлером, – кивнул он. – С вами, господин редактор, всё ясно.

Я обиделся. Тогда, разумеется, не за Ленина. За Гитлера. Точнее – сравнение с ним.

– У тебя, Немец, нет чувства юмора, – сказал я Шулеру. – У всех немцев с этим туго.

– Да ты, товарищ Иосиф, не обижайся... Просто я хотел узнать: камо грядеши?

– Это по-каковски?

– Сокральный язык... На современном русском означает – куда идешь?

– Я-то?

– Да не ты как мой лучший друг Захар. А как главный редактор стенгазеты. Понял?

– Не-а...

– Объясняю популярно. Этот вопрос апостол Петр, пытаюсь покинуть Рим, чтобы спастись от преследований Нерона, задал Христу.

– Ну и...

– Ну, и Христос ответил испугавшемуся Христу: «В Рим, чтобы снова принять распятие». Апостол Петр устыдился

своей слабости, вернулся в Рим, где и принял мученическую смерть...

Тут я совершенно запутался.

– Ну и что? Разве это был хороший совет Петру?

– А мог он поступить по-другому?

Тогда я лишь пожал плечами.

Глава 9

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ

Иосиф о спасении и вечном страхе перед маленькими и большими псами

Мой старший сын, когда был маленьким и ему становилось страшно в кино, закрывал глаза. Мой младший сын уходит от реальности в компьютерный, виртуальный мир.

Я спасаюсь своим романом. Воспоминаниями. Это мир не совсем виртуальный. Он такой же реальный, как и этот. Но мне так легче переживать свои настоящие страхи.

Я точно знаю: от того, что было со мной вчера, зависит мое завтра. Сегодняшнего дня нет. Настоящее ускользает от меня...

Но жить надо в дне сегодняшнем. Чтобы наступило будущее. Какое – это уже другой вопрос.

В тот день я собирался на прием к главе района Степану Карагодину. И чувствовал, как страх подбирается к моему слабому месту – горлу. Он стал сдавливать его уже с утра,

когда я пил кофе на кухне, с тоской глядя на телефон: хоть бы позвонил кто... Моргуша или Паша. Но никто не звонил. И я за кофе наугад открыл «Записки мёртвого пса». Попал на философствования Фоки Лукича. Одно из тех мест, которое Паша называл «Евангелие от Фоки»:

«НЕ ПУТАТЬ ОТЕЧЕСТВО С «ВАШИМ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМ»

Из «Записок мёртвого пса»

«Русские – нация умная, ново все времена русские – царедворцы. Печально, что мы частенько путаем слова «отчество» и «ваше превосходительство». Мы, русские – обязательно царедворцы: солдаты, церковники, шпионы, тюремщики, палачи, жертвы палачей... Мы и дело делаем, как царедворцы. До чего может дойти с общество, в основе которого нет человеческого достоинства?»

Россией правит класс второстепенных чиновников. Бюрократия – единственная реальная сила, ограничивающая фактически даже власть вождя. Но хуже всего, что чиновничество в своей массе враждебно относится к любому существующему строю. Их внутренний пёс постоянно огрызается на любое дельное указание или приказание, хотя внешне у пса – абсолютная покорность и верноподданность. И никогда не узнаешь, чего больше в нём, в чиновнике, – внешней рабской покорности или скрытой злобы и бунка

тарства».

В приемную Карагодина я пришел загодя, минут за двадцать до назначенного срока. Секретарша Зоя холодно со мной поздоровалась, на мою попытку вызвать на разговор не отреагировала. «Эти шавочки, – подумал я, – только подгавкивают своему хозяину. Чего на них обижаться?».

– Вот, распишитесь, пожалуйста, здесь... В получении уведомления, – сказала Зоя.

– В уведомлении чего? – не понял я.

– В том, что администрация вас уведомляет, что из-за дефицита бюджетных средств она выходит из состава учредителей районной газеты «Краснослободские зори»...

Я расписался и трижды перечитал врученное мне уведомление о выходе из состава. Это означало одно: искать справедливости через суд было бесполезно. Мне отрезали и этот путь к маневру. Мол, нет денег – вот и перестали финансировать газету. Найдут другого главного редактора, попокладистее да поласковее сосущего матку, – деньги, разумеется, в бюджете сразу найдутся. Чертенюк осваивал искусство управления муниципальным образованием весьма успешно. Способный ученик.

– Воды? – заволновалась Зоя, глядя на мои дрожавшие руки.

– Спасибо, – покачал я головой. – Не гимназистка, в обморок не упаду.

– А где вы сейчас, Иосиф Климович? – спросила секретарша и сама глотнула водички.

– В России, – ответил я. – Сами видите...

– Я не об этом...

– А я как раз об этом.

– Пишите всё?

– Всё пишу.

Один из телефонов на Зоином столе зазвонил. Девушка сняла трубку и кивнула мне:

– Можно заходить.

– Благодарю вас, барышня.

Степан Григорьевич сидел за столом торжественно и монументально. В голову сразу же пришла строчка из песни нашей юности: «Сижу на нарах, как король на именинах».

– А-а... – оторвался он от документов, с которыми, как я думаю, не только работал, но и спать ложился в одну койку. – Господин писатель!.. Какими судьбами?

– По вашу душу, – грустно пошутил я.

– Я вызывал?

– Моргуша сказала, что вы... На восемнадцать ноль ноль.

Вот явился, не запылится...

– А зачем это я тебя вызывал? – издевался Степка-чертенок. – Ты, мой дорогой однокашник, не знаешь?

– Знаю, – ответил я. – Уведомление вручить. Чтобы, так сказать, не возникало никаких юридических иллюзий у временно уволенного главного редактора.

Он засунул длинные пальцы под модные полосатые подтяжки, оттянул резинку и звучно, будто выстрелил, себя по пивному животу.

– Я вас, Иосиф Климович, не увольнял... Я вас уведомил, что денег на газетку, которая слона покусывает, как сбесившаяся шавка, в бюджете района нет. А на нет, в России, как известно, суда нет...

– Я и не собирался в суд идти.

– Можем и полюбовно договориться...

– Не верю... Так один режиссер давал оценку игры своих актеров.

– Только без оскорблений. Я не актер. А ты, тем более, не режиссер. Ты – безработный. Значит, никто.

– И последние станут первыми...

– Это, мой друг Иосиф, все сказки... Первые и стали первыми. Это историческая правда. Ты ведь историк по основному образованию?

– Если под «первыми» вы подразумеваете первых секретарей, то это действительно исторический факт. Признаю...

Он помолчал, улыбнулся:

– Редкий случай, когда вы, господин бывший главный редактор, признаете свои ошибки... Это говорит мне о том, что не все еще потеряно.

– Уведомление вручено. Я могу идти? – спросил я.

– Куда вам торопиться, товарищ безработный... Вы теперь воистину богатый человек – столько свободного време-

ни... Хоть отбавляй. Позавидуешь.

– Спасибо. Черной зависти мне не надо...

– Не обижайся, Захар! Не обижайся... – он достал дорогу сигарету, скрученную из кубинского сигарного табака, прикурил от настольной зажигалки. – Как знать, может быть, придет время – и еще поблагодаришь меня за это благодеяние.

– Зачем же ждать? Поясной поклон вам от всей нашей семьи Захаровых, – сказал я и даже символически поклонился хозяину кабинета.

– Всё ёрничаешь, – покачал он уложенной в парикмахерской головой. – Вы с Шулером в классе первыми клоунами всегда были. Клоунами и остались...

– Иногда глазами клоуна видно дальше.

– А я ведь тоже не слепой. Все, Захар, подмечаю. Все мне докладывают подчиненные.

– Стучат...

– Зачем так грубо? Кто владеет информацией, тот владеет миром.

Он встал из-за стола – большой, красивый человек в безупречных дорогих тряпках «от кутюр».

– Знаю, что Павел Фокич тебе по-дружески презентовал записки своего сумасшедшего отца... Помнишь, мы всё к окнам старика бегали, смотреть, как он «роман века» строчит под лампой с зеленым абажуром?

– Не помню, – соврал я.

– А что записки старого доктора получил – это ты понишь?

– «Бурдовую тетрадь», что ли? – пожал я плечами.

– Бурдовую или еще какую – это детали. Главное, есть этот бред сумасшедшего у тебя или нет?

Я помолчал, подумал и сказал:

– Есть. Для меня, историка Слободы, это бесценный документ.

Я глазами показал на документы, наваленные стопками на столе главы.

– Это пасквиль, а не документ...

Я нацепил очки, которыми пользуюсь только для чтения, и заглянул ему в глаза:

– А откуда вы, Степан Григорьевич, знаете, что там написано, в «Записках мёртвого пса»?..

Он подошел ко мне вплотную, будто хотел выстрелить в упор.

– Догадываюсь... И у меня есть к тебе предложение.

– Я не барышня, чтобы мне делать предложения...

– Не юродствуй, клоун!

Он отошел к окну, зачем-то опустил жалюзи.

Степан замер, не оборачиваясь ко мне, сказал:

– Знаешь, мне еще в школе было интересно, что там этот старый пердун в своей тетрадке марает...

– В высшей степени интересные вещи...

– И что же – там, по-твоему, правда?

– Евангелие врать не может.

– Евангелие?

– «Евангелие от Фоки»... Он отслеживал нашу свободную жизнь, описывал наш позор и наши победы, размышлял, давал как врач какие-то рецепты, делал попытки писать как настоящий писатель...

– О чем?

– О прошлом, а значит, и будущем.

– Ах, мать твою!

Он стал подбрасывать и ловить коробок спичек, подбрасывать и ловить. Я невольно следил за полетом коробочка. Последний раз не поймал.

– Я так понимаю: про тебя и про меня там ничего нет. Мы тогда детьми были...

– Бедный Йорик! Кости его давно истлели, а тетрадка сумасшедшего пса, значит, все еще делает свое злое дело...

Он нагнулся ко мне через стол. Сказал шепотом:

– Ты мне передай эту бредятину. Уж больно любопытно познакомиться, знаешь ли.

Я помолчал, оценивая ситуацию.

– Не могу, – развел я руками. – Пока не напишу роман, не могу вам передать даже ксерокопии одного документа, уважаемый Степан Григорьевич.

– Даже так?

– Увы... Тайна следствия. Точнее – писательского расследования.

– Ага... – он прижег новую сигарету. – Я тебя должен огорчить, Иосиф Климович. В редакции некогда вверенной тебе газеты работает ревизия из областного центра. Уже нашла «отдельные недостатки».

Он многозначительно посмотрел на меня.

– Расход бензина на твою машину аж в пять раз превышал потребляемое количество... То есть перерасход – тысяч в двести. Так что дело, господин бывший, пахнет керосином... Ревизия передаст материалы следователям, те в суд. И да здравствует наш самый гуманный суд в мире.

– Знаете, Степан Григорьевич, что мне в вас нравится?

– Просветите, господин писатель.

– Изящный вы человек. Гибкий руководитель. Как это у вас получается? Без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка...

– Так разве зря меня народ на пост главы избрал?

– Народ? – удивился я.

– А кто же? Ты ведь первым за меня голосовал. Без тоски и думы роковой. Ведь так?

Я промолчал. Тут с Карагодиным не поспоришь.

Он взял меня за пуговицу на пиджаке, притянул к себе. Я почувствовал неприятный запах его гниющих зубов. Паша уверял, что так же пахнут и их души. Только мы этого не чуем.

– Ну, я пошел писать дальше...

– Иди.

– А не боитесь?

Он отвалился на спинку руководящего кресла, ощерился:

– А чего мне, Захар, бояться-то? Пока мы в этом кресле, ты будешь писать и читать ту историю, которую будет нам угодна. Понял, Пимен?

Когда я уже взялся за ручку двери, то услышал в спину:

– Передумаешь с записками сумасшедшего, заходи, приноси... Гостем будешь. Ты же знаешь, никак не могу найти подходящую кандидатуру на место ушедшего из жизни нашего незабвенного директора – Тараса Ефремовича. Подумай над жизнью своей, Захар. Иногда это очень полезно. Пока не становится поздно и проблема отпадает сама собой.

Мне стало страшно по-настоящему.

О ФАЛЬШЕ И ДОНОСИТЕЛЬСТВЕ ИЗ «ЗАПИСОК МЕРТВОГО ПСА»

2 мая 1931г. Красная Слобода. 2 часа ночи.

«О жителях Красной Слободы можно сказать, что все они опьянены своим рабством. Даже их христианское смирение, их молчание – это молчание рабов. Но если люди молчат, то за них говорят камни. И говорят плачевным голосом.

И кто бы пожалел наш слободской народ? Слободчане живут нынче классовыми предрассудками и атеистическим невежеством. И еще притворной покорностью перед

властью. Притворная безропотность, по-моему, последняя степень унижения, до какой может пасть порабощенный народ. Их возмущение, отчаянье были бы, конечно, более ужасны, но менее низки. Даже слабость их настолько лишена достоинства, что может отказаться даже от жалоб, этого утешения скотины. Страх, подавленный избытком страха, это – нравственный феномен, который нельзя наблюдать, не проливая кровавых слез.

Внешний порядок, царящий сегодня в Слободе – лишь иллюзия; под ним таятся недуги, подтачивающие государственный организм. Фальшь и обман, всеобщее доношительство, как эффективный метод сведения счетов с соседом или родственником, лицемерие и всеобщее равенство, которое *de facto* является фикцией, – вот нынешние нравы и нашего российского медвежьего угла в аномальной зоне.

Слободчане, приходившие сегодня на приём в нашу больницу, утверждали, что оборотень, чёрный пёс, который якобы живёт в заброшенной шахте рудника, зачастил в Красную Слободу. Настоятель нашей церкви, отец Николай призывает свою паству прийти в храм на исповедь. Народ не идёт, хотя оборотня боится до смерти. Рассказывают, что в Снецком тамошняя активистка, комбедовка по имени Глаша (Глафира) встретила оборотня на узкой тропинке у сельсовета. И чёрный пёс «прожёл её взглядом глаз-углей наскрозь». Бедную женщину с ожогом груди нашли в придорожной канаве, отпевать её батюшка отказался. Да

сельсоветчики бы и не дали ему это сделать.

Пётр Карагодин, косноязычный вождь Аномалии, согнал всех селян на митинг. И клеймил последними словами «попов и священников» за одурманивание местного населения опинумом для народа. В его выступлении матерных слов было больше, чем нейтральной лексики. Но главное, что не было в его словах ни смысла, ни любви. Одна фальшиво звучащая медь. Кимвал бряцающий».

Глава 10

КАК ПОПАСТЬ В ЛИТЕРАТУРНУЮ ОБОЙМУ

Иосиф о своих первых шагах в литературу

Та общешкольная стенгазета с карикатурой на своего лучшего друга и моими «отредактированными» стихами была моим первым «печатным органом». Бульба, мельком глянув на то, как тронулся лед и в нашей Слободе, с удовлетворением пожевал свои седеющие усы и сказал:

– Ну, что, Захаров, поздравляю тебя. Ты отныне попал в нашу литературную обойму.

Я понимал, что такое обойма от винтовки Мосина, от Маузера, от другого огнестрельного оружия. Про «литературную обойму» я слышал впервые. Не скрою: было что-то элитное во фразе директора. Если поздравляют, значит, попасть в «обойму» не так уж и просто...

– Эх, товарищ Иосиф... – вздохнул Паша. – Если бы ты

знал, что это такое – «литературная обойма».

– Откуда она взялась? – спросил я друга, которого с принципиальностью Павлика Морозова «парафинил» в своем «печатном органе».

– Не знаешь? – сощурился Пашка. – А еще представитель древнейшей профессии. Это фраза из фельетона Ильфа и Петрова. Автор «Золотого тельца».

Я обиделся за его фельетонную интонацию.

– А многим даже очень нравится, – сказал я. – Посмотри, какой жгучий интерес к газете.

Мы вместе обернулись к стене и увидели следующую живую картину.

...Анна Ивановна отошла от рукописного творения на метр, подбоченилась правой рукой, а левой взялась за тяжелый подбородок, похожий на пресс-папье в учительской.

– А где подпись автора стиха? – спросила Анка-пулеметчица. – Анонимов нам не надо!

Своей подписи я под «отредактированным стихом» не поставил. Потому что «от меня», свободного поэта, там ничего не осталось. Знаменитое «клеветайте, клеветайте, – что-нибудь да останется» тут не сработало. Не осталось ничего. Только шрамы на моей душе творца. (Где-то я прочитал, что некто Медий, состоявший в свите Александра Македонского, советовал смело применять клевету и кусать, ибо шрам, во всяком случае, останется).

У стенгазеты толпилась вся школа. Уже от входной две-

ри был виден Пашка-румяный колобок, к которому тянулась длинная рука с берега. Всем почему-то казалось, что эта нелепая рука не спасала, а наоборот – топила «колобка», печально улыбавшегося в роковую минуту.

Вновь подходившие сначала читали мое патетическое четверостишие, потом переводили взгляд на ухватистую, на печально улыбающегося «колобка» – и хватались за животы. Даже первоклашки, как мне казалось, деланно хохотали, как хохочут герои в несмешных ктнофильмах.

Но все хвалили меня и Водянкину. Её художественная работа, до краев наполненная драматическим замыслом, в купе с моими «высокими» стихами приобрела вдруг парадоксальный, даже пародийный смысл. Конфликт между формой и содержанием дал такую ужасную трещину, что в нее с треском провалились все мои благие замыслы.

Мне бы извиниться, покаяться... Да не смог. Принимал поздравления. И даже слегка кланялся на хвалебные оценки учителей. А ведь наизусть читал Анке-пулеметчице отрывок из Пушкина «гости съезжались на дачу». И помнил гениальную фразу писателя, что «злословие даже без доказательств оставляет прочные следы».

Директор даже позвонил кому-то в районо. На перемене между четвертым и пятом уроками в школу пришла благообразная дама в черной траурной шляпке с вуалью. Дама была печальнее своей шляпки. К ватману ее осторожно, будто боялся, что мадам сейчас же рассыплется от смеха и старо-

сти одновременно, подвел Тарас Ефремович.

– Разойдись, хлопцы! – раскидывал он наглецов в стороны. – Элла артардовна посмотрит на творчество масс.

Элла Эдуардовна черной тенью приблизилась к шедевру.

Толпа нехотя раздвинулась, пропуская знаменитого на всю округу директора-партизана. (Шумилов был партизанским разведчиком, имел медали и один орден. Имел ли он учительский диплом, никого из учащихся единственной в Слободе средней школы не интересовало).

– Я же сказал, посторонись, хлопчик! – оттеснил он и меня, автора, от стенной газеты. – Вот, пожалуйста... Стихи не хуже, чем у маститых. Хоть сейчас в хрестоматию.

Дама в вуали поднесла к глазам очки, не надевая их на крысиный розовый нос, долго читала, а потом выдала свое резюме:

– Квасной патриотизм, конечно. Но дым отечества нам сладок и приятен.

На высоком челе Тараса Ефремовича не отразилось ничего. То ли он не понял, что такое квасной патриотизм, то ли «Горе от ума» не читал.

Зато Пашка не преминул вставить из «Евгения Онегина», которого, обладая феноменальной памятью, почти всего знал наизусть:

– «И вот общественное мнение! Пружина чести наш кумир! И вот на чем вертится мир!».

Дама из районо оглянулась на дикломатора, сказала, пря-

ча очки в сумочку:

– Что-то знакомое, мальчик...

– Нет, это не из Иосифа Захарова, – сказал Шулер. – Это из Александра Сергеевича.

– Кто этот бледный юноша со взором горящим? – повернулась руководящая дама к директору.

– Паша Альтшуллер? – переспросил Тарас Ефремович. – Так это сын Фоки Лукича... Ну, того самого... Которого в сумасшедший дом посадили.

Пашка тут же взорвался:

– Мой отец не жупел, чтобы им древних старушек страшать! – бросил он Бульбе и, глотая слезы, бросился к двери.

– Мальчик, кажется, тоже не совсем здоров... – с тоской в голосе протянула черная бабушка.

В этом «взрыве» был весь он, – Паша Альтшуллер. Старый Ученик. Или лучше – Вечный Ученик.

Наши педагоги насчет Павла были единодушны в своем мнении. Отмечая несомненные «природные способности мальчика», заостряли внимание на его вредных привычках дерзить репликами старшим, читать и говорить «не то, что надо». (Теперь-то я прекрасно понимаю, что Пашку наставники доброго и вечного просто не любили. «Этот мальчик, – говорила Анка-пулеметчица, – видит не мир, а его изнанку. Это идеологически чужой вредный взгляд на общепринятые, устоявшиеся в оценках, привычные вещи»).

А Бульба как-то даже сказал моему другу почти по-гого-

левски:

– Я тебя, Альтшуллер, не рожал, но за твою дерзость убью когда-нибудь обязательно!

Пашке бы промолчать. Но он ответил самому директору, герою артизанской войны в крае:

– Яволь, господин директор! Партизанен капут! Фсё будет карашо! Бабка, курка, яйко!

Бывший разведчик отряда «Мститель» мститель даже опешил.

– Пользуешься, что отца твоего в школу не могу вызвать?

– А вы попробуйте. Может, его и отпустят по вашей записке...

У Альтшуллера не было, по просвещенному мнению сеятелей вечного и доброго, главного – уважительности. Уважительность – отличительная черта слободского учащегося. Пашу Альтшуллера таковым не считали. Видно, сын антисоветчика изначально не мог быть хорошим советским школьником.

Как-то Старый Ученик довел Бульбу до белого каления, и тот сказал ему:

– Ну, погоди, немецкая овчарка! Ты у меня не гавкать, а выть будешь... Тогда завиляешь хвостом.

А Пашка никогда ни перед кем хвостом не вилял. Потому что «хвостов» по предметам у него не было. Учился он лучше всех. Но на школьной Доске почета его фотографии почему-то не было.

– Почему тебя на доску не вешают? – спросил я его.

– Правильно, Иосиф, что не вешают, – ответил он. – Мне уже шестнадцать, а ничего не сделано для бессмертия...

Глава 11

ПОДБРОСЬ ДРОВЕЦ, СВЯТАЯ ПРОСТОТА!..

Иосиф Захаров об уме и горе от него в аномальных зонах

Я понял, что натворил, когда Анка-пулеметчица объявила нам о незапланированном комсомольском собрании.

На том уроке мы «проходили» Грибоедова. Анна Ивановна спросила:

– А почему Грибоедов назвал свое произведение «Горем от ума»?

Все молчали.

– Захаров! – подняла она меня. – Ну, уважаемый главный редактор «Крокодила»?..

Я вздохнул:

Отпустите, Анна Ивановна, душу на покаяние... Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок.

– Сатира в нашем обществе, – поправила она меня, – не оскорбление, а необходимое для выздоровления от излишнего самомнения лекарство.

Она жестом усадила меня за парту, кошачьим неслышным

шагом подошла к парте, за которой в гордом одиночестве сидел Пашка. Как всегда он читал какую-то умную книгу, держа фолиант на коленках.

– А вы, сводный брат товарища редактора, гражданин Альтшуллер, что скажите...

Паша вздрогнул, книга шумно упала на пол – класс гоготнул.

– Простите, я не расслышал ваш вопрос...

– Рано стали гложуть, Бетховен, – поднимая с пола книгу Светония «Жизнь двенадцати цезарей», холодно сказала Анка-пулеметчица. – А я думала, что ты Грибоедова читаешь...

– Горе от ума бывает только в России, Анна Ивановна, – ответил мой друг. – Яркий тому пример – мой бедный отец.

– Я про отца тебя не спрашиваю... – тут же отреагировала Анна Ивановна. – Ты мне скажи, в чем подтекст фразы Чацкого: «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездук!»?

Паша подумал, пожал плечами:

– А тут никакого подтекста и нет. Куда бы он не уехал, все дороги ведут к коммунизму...

Класс взорвался хохотом.

– Тихо! – испуганно замахала руками Анна Ивановна, проверяя, плотно ли прикрыта дверь класса. – Молчать, разгильдяи! А ты, Альтшуллер, ты... Яблоко от яблони...

– Где нам дуракам чай пить... – добавил Паша и сел. – Уймись, волнения страсти.

– Альтшуллер! Вон из класса за отцом!

– Вы хотели сказать – к отцу? Далековато шагать...

– Я... Я, – Анна Ивановна приложила платочек к глубоко посаженным глазам. – Я должна обо всем этом доложить в районо! Нашему куратору, которая, наверное, еще в кабинете директора...

И она выбежала из класса, чуть не опрокинув пыльный фикус, стоявший у шкафа со старыми учебниками.

– Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна! – вслед ей процитировал строчку бессмертной комедии Пашка.

– А в морду – хошь? – услышал он с первой парты.

Это встал Степка Карагодин, секретарь комитета комсомола школы. Наш идейный вожак. Никем другим Степка в школе и быть не мог. Дед и отец похоронены на площади Павших Героев. Над ними – бронзовый памятник: склонивший голову партизан в кубанке, с автоматом «ППШ» на груди. (Пашка уверял, что в отряде «Мститель» после февраля сорок второго года были только немецкие автоматы. И ни одного «ППШ». Пашка читал записки своего отца и вообще знал всё на свете). К бронзовым ногам Григория Петровича (так звали отца Степана Карагодина) каждое 9 мая, в день Порбеды, и 28 февраля, в день освобождения Краснослободского района от немцев, ложились венки и живые цветы. Здесь меня с Пашкой принимали в пионеры. Сюда те-

перь слободчане приходили на торжественные митинги, слушали торжественные речи, сказанные в микрофон, одобряли политику партии, требовали свободу Луису Корвалану и на Первомай и Октябрьскую дружно орали в унисон победное «ура». Колонны учащихся единственной средней школы Краснослободска стройными рядами, по-военному чекая шаг, шли мимо позеленевшего от времени Григория Карагодина и гранитного камня, на котором золотом сверкали буквы мемориальной надписи: «Слава героям Красной Слободы!».

И все понимали, что сын и внук геров Слободы – обречен. Тоже на славу. Успех. Высокие должности. На командирские замашки. Пока что, разумеется, в школьных мелких масштабах.

– А в морду – хошь, Немец? – повторил Степан и сделал к Пашке несколько шагов.

Карагодины и Альтшуллеры были моими соседями еще с времен, когда наш заштатный городок называли Красной Слободой. А чаще – просто Слободой.

– Ты что, сосед? – остановил я Степана.

– Пусти, Захар! Он женщину обидел...

– Ах, какой пассаж! – встал я между мощным Степаном и шупленьким бледным Пашкой, который уже принял стойку боксера-недоучки.

Мой интеллигентный сводный брат, который больше всего на свете любил своего большого отца и умные книги,

стал насвистывать известный мне мотивчик какого-то венца: «Ах, мой милый Августин!». И даже запел по-немецки. Наверное, от страха быть униженным перед всем классом (но прежде всего перед Моргушей) пудовыми кулаками откормленного Степки:

– Ach, du lieber Augustin!

– Фашист недобитый! – сквозь зубы процедил Карагодин. – Ты у меня свое еще получишь. Вырастит из сына свин, хоть отец свиненок...

Пашка вдруг выпругнул из-за моей спины и сходу врезал Степке в челюсть.

– Клац! – звонку отозвались на короткий точный удар друга его зубы.

– Это за свиненка, Степан Григорьевич... – прошептал Пашка, танцуя вокруг рослого Степана. – А это за свина...

Но ударить ошеломленного внезапностью и отчаянной храбростью врага Карагодин не успел – в класс стремительно вошли Анка-пулеметчица, Тарас Ефремович и дама в шляпке с черной вуалью.

Шумилов, увидев тихого Альтшуллера в бойцовой позе атаки, несказанно удивился:

– А жаль, что незнаком ты с нашим петухом... Альтшуллер! Брысь на место!

– Степа, что тут произошло? – застрекотала Анка-пулеметчица.

– Садитесь, товарищи учащиеся, – приказала черная ву-

аль, усаживая класс, который дружно поднялся со своих мест, приветствуя начальницу.

Руководящая дама из районо, усадив класс, обратила свои заплаканные глаза к директору.

– Тарас Ефремович, нужно начинать воспитательную работу прямо сейчас. Немедленно. Тем более, что именно этого мальчика, – она выбросила из кулачка в черной ажурной перчатке указательный пальчик в сторону Паши, будто играла с ним в «нашу войну». – Тем более, что именно этого мальчика так ярко и образно раскритиковала общешкольная газета под названием «Крокодил».

Бульба, подкручивая свои висячие усы, подошел к первой парте.

– Степан, – сказал он. – Проведем комсомольское собрание класса. Обсудим критическое выступление нашей школьной печати, которую возглавляет Захаров, и поведение вашего товарища, хулигана, чтобы не сказать большего, Павла Альтшуллера.

– Ну, Степан Григорьевич, веди собрание... Ты, а не я, секретарь комитета комсомола школы. Давай, рассказывай, как вы дошли до жизни такой...

Степан подождал, пока на «камчатке» уселись дама из районо и Анка-пулеметчица, подошел к учительскому столу, откашлялся и достал уже заготовленную бумажку с текстом обвинительной речи.

– Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо... – попросил

класс Павел. И все опять хихикнули.

– Цыц! – притопнул ногой Бульба. – Я вас, бродяги, породил, я вас и убью. Если будет надо... – сказал он. – Говори, Степан!

Чего он только не буровил, в чем только не обвинял моего друга... Но самое страшное было то, что отправной точкой всех его обвинений стала моя газета. Мои отредактированные Анкой-пулеметчицей стихи. Моя песня, которой я сам наступил на горло...

Я не помню, что вменялось Немцу. Но когда поставили на голосование его исключение из школы и комсомола, я вскочил и крикнул:

– А ты, Чертенюк, разве не сигал по льдинам? Но если бы ты упал в ледяную воду, то уж точно не подвергал бы опасности отважную комсомолку Водянкину?

– Это почему так? – сощурился мой сосед по домам по улице Петра Карагодина Степка.

Я торжествующим взглядом обвел притихший класс, боковым зрением зацепил блеснувший из под вуали взгляд районной начальницы.

– Да потому что комсомолка Маруся Водянкина за тобой бы в ледяную воду не прыгнула! Ты ведь руки утопающему не протянул. Только поинтересовался у нахлебавшегося талой водой товарища: «Хороша ли водица?»!..

Моё откровение, как «Колокол» Герцена, разбудил и дре-

мавший народ, и всех равнодушных, бесконечно далеких от народа. Все заговорили разом, затрещали, заохали и защищая Чертенка, и атакая на него.

– Не подал руки! Мы видели, Степан!

– В нем просто сработал инстинкт самосохранения! Он поступил разумно!

– Не поздоровится от эдаких похвал...

– А я, дура, его в сочинении с Павлом Корчагиным сравнивала... А теперь, девочки, мучительно больно...

– Каждый класс заслуживает вожака, которого он заслуживает...

– Цыц, Каины слободские! – загремев крышкой парты, горой встал над ней Бульба. – Как дошли вы до жизни такой? Кого вы слушаете? С кого пример берете?..

Он грохнул кулачищем по парте – в классе мгновенно воцарилась тишина вакуума.

– Я вам, товарищи, – одышливо произнёс Тарас Ефремович, – сейчас открою глаза! И вам все станет ясно и понятно. Сейчас Павел Альтшуллер живет в семье Захаровых. Пока его отца в сумасшедшем доме лечат... Вот эти два камрада и спелись. И покрывают друг друга, выставляя нашего комсомольского вожака в невыгодном для общественного мнения свете.... Это старый диссидентский прием – скомпрометировать руководителя, опорочить нашу светлую действительность. Нашу, можно сказать, светлую память загадить всяким дерьмом...

Он страшно вращал красными, в прожилках, глазами, распаяясь все больше и больше:

– Отец Павла, товарищи, хотел очернить светлую память наших славных партизан! Моих боевых товарищей... Вон они, на Площади Павших Героев, у Вечного огня славы лежат...

Он достал платок и шумно высморкался. Затем промокнул слезы на глазах.

– Альтшуллер за папашу своего мстит... А Захаров, кому мы доверили самое действенное оружие партии – сатиру и юмор – ему потакает. Позор!

– Таким не место среди нас! – вскочил Степан, почувствовав окрепшим тыл. – У нас один тройственный союз: Ленин, партия, комсомол! Давайте вместе со мной: Ленин, партия, комсомол!

Класс безмолвствовал.

Я подошел к Пашке, потерянно смотревшему на опущенные головы товарищей. Сказал тихо:

– Прости меня, братишка...

– За что?

– За стихи. Это я их отредактировал. За древнейшую профессию...

Он протянул руку.

– Ты не виноват, брат. Я знаю, сначала это были гениальные вирши. И слова твои звучали, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных.

– Это какие еще беды вы нам пророчествуете, а? – взревел Шумилов.

– Угомонитесь, Тарас Ефремович, – вдруг пискнула со своего места «черная вуаль», позабытая нами в пылу полемики проверяющая. – Пусть юноши и девушки сами, без вашей подсказки, обличат идеологические заблуждения этого мальчика по фамилии э...э, Альтшуллер, так, кажется? Что, например, скажет, главный редактор сенной печати? Ведь тебя, Захаров, кажется, никто не заставлял критиковать своего друга в печати? Ты это сделал по зову своего сердца. Не так ли, друг мой?

– Так, подруга, так... – неожиданно для себя нагрубил я ни в чем не повинной женщине. – Самоуправление – это ведь старая завиральная идея. У нас в Слободе самоуправление всегда будут путать с самоуправством.

Дама из районо приложила кружевной платочек к глазам, всхлипнула и, не глядя на нас, бочком, выскользнула из класса.

– Отца ко мне завтра! – заорал мне в ухо директор. – Без отца не приходи! А пока, Степан, ставь на голосование исключение Захарова из рядов ВЛКСМ...

– Кто – за? – спросил Карагодин.

– Подождите, – поднялась моя соседка Моргуша. – Давайте обойдемся общественным порицанием. Я хочу сказать Иосифу, что он поступил плохо.

– Когда?

– Ну, не тогда, когда стихи писал, а когда защищал грубияна и этого, как его... диссидента. Ты и сам стал грубияном, обидчиком женщин и детей...

Я скривился в скептической улыбке:

– Ну-ну, подбрось дровец в мой костер, святая простота...

– И подброшу! – сказала Моргоша. – Я предлагаю этим друзьям, обоим, объявить по выговору... Без занесения.

– Правильно! – закричали ребята с мест.

– Голосуем? – взяла инициативу в свои руки Водянкина. –

Кто – за?

«За» наш дружный класс проголосовал единогласно.

...Степка подждал нас в раздевалке.

– Ну, поздравляю, – сказал он. – Опять тройственный союз победил?

– Да ладно тебе, суседушка, пыхтеть, – миролюбиво ответил я Карагодину. – Чудила ты с улицы Петра Карагодина... Мне вот Анка-пулеметчица, оказывается, пару за «Горе от ума» вклеила в журнал... В воспитательных, так сказать, целях. А мне весело. Правда, Паш?

Пашка подал Марусе пальто, снял с крючка ее шапочку и стал подбрасывать ее под потолок, приговаривая:

– Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали!..

– Мы с Марусей ходим парой... – прищурился Степка. –

Наша простая слободская шведская семья...

Я тогда не понял Степкиного намека. А всезнающий Паш-

ка не подсказал. Однако, судя по интонации, Карагодин сморозил очередную свою пошлость. Был он на пошлости гораздо. Талантлив, можно сказать, человек был на это дело с самого детства.

Глава 12

ЕСТЬ ЗЛО, ТВОРЯЩЕЕ ДОБРО?

Иосиф о диалектике жизни

Нелепые слухи ходили за Пашкой по пятам. Слободские кумушки судачили у колонок, что Пашка заразился от отца страшной болезнью, от которой человек, будь он мал или стар, в конце концов, сходит с ума. Немало было и грязных намеков и на некий «тройственный союз» Альтшуллера, Захарова и Водянкиной. Но, на удивление всем, наша дружба не ржавела и не давала даже трещин, выдерживая тотальную словесную бомбардировку.

Трудно выразить одним словом, что нас связывало в прошлом и связывает сейчас, когда все уже потеряно, кроме чести. Может быть, само детство, отрочество, безоглядная влюбленность в самую красивую девушку Красной Слободы? А может быть, эта самая честь, которую мы, к счастью, не потеряли, и помогла нам тогда не рассориться вдрызг.

У нас бывали крупные ссоры и долгие расставания. Всю жизнь я безумно ревновал мою Марусю к Пашке Альтшуллеру, человеку умному, рассудительному, порой немного ци-

ничному, как все люди иронического склада ума. И всю жизнь я тянусь к такой не похожей на мою, но всё-таки родственной Пашкиной душе.

Кого из нас Моргуша любила в девичестве больше, для меня до сих пор загадка. Были времена, когда уже умиротворенный любовью пёс вдруг вновь оживал, разрывая в клочья между нами отношения своей разрушительной энергией.

Когда-то очень давно, когда только-только заполучил от Павла первые странички из «Записок мёртвого пса», я спросил у Немца:

– Неужели у этого пса, о котором пишет твой отец, такая энергия? Взглядом – и насквозь!

– Страшная, Захар, энергия, – ответил он. – Эйнштейн, например, как ты, надеюсь, знаешь, утверждал, что масса – это энергия в квадрате. И если высвободить энергию, заключенную в массе одного только человека, то ею можно взорвать весь континент.

Я недоверчиво хмыкнул.

– Но ведь гамбургский епископ в своей «инструкции по безопасности» утверждал, что чёрный пёс, Анибус, несмотря на свой суровый вид, всегда ищет в человеке светлое начало. И утаскивает в Нижний Мир только нераскаявшихся грешников... Так «добро» он или «зло»? Как понимать?

– Есть зло, творящее добро, – просто ответил Павел. – А есть добро, творящее зло. Диалектика, брат.

– И есть исторические примеры? – спросил я.

– Есть, – кивнул он. – Ленин, например...

– Оставь Ильича в покое... – ответил я. – Гитлер – вот исчадь ада.

– Тебе знать лучше, – пожал плечами Павел. – Ты же родился 21 апреля, как раз между Лениным и Гитлером.

– Это совершенно разные фигуры. Один гений – злой. Другой – добрый.

– А корни?

– Что корни?

– Ильич многому научился в Германии. Как там в «Онегине»? «Он из Германии туманной привез учености плоды».

– Плоды могут быть совершенно разными. Запретными, например...

– Почему же, – перебил меня Вечный Ученик. – Ленин основал РСДРП, и Гитлер до конца своих гнусных дней считал себя социалистом. Знаешь, как его партия называлась? Национальная социалистическая рабочая партия. Так что у этих двух типов с немецкими корнями много общего.

– Чушь собачья! – в свою очередь перебил я Пашку. – Не в названии дело. Под словами «социалистическая» и «рабочая» может скрываться и сам черт или дьявол.

– Я как раз об этом. Если не убеждает, то поищи примерчик поярче.

Я еще покопался в памяти и почему-то шепотом спросил:

– А – Сталин?

Пашка тоже не сразу ответил. Но выдал та-а-кое, что у ме-

ня нервно зачесался левый глаз – верная моя примета плакать.

– Сталин, товарищ Иосиф – сказал Альтшуллер, – самый верный ученик Ленина.

– Хрущеву, значит, веришь?

– Вера без дела мертва есть, сказано в послании апостола Иакова.

– Опять вы за своё? Поговорите о весне, о любви, на романтическую тему... Перестаньте, наконец, при мне говорить о политике! – взмолилась Маруся. – Не хочу вас слушать. Не хочу!.. Я боюсь...

И она зажала уши ладошками, похожие на два больших оладушка, которые она по бабушкиному рецепту пекла с тертыми яблоками.

– Повесели девушку, – сказал я Пашке. – Видишь, истерика на нашей почве.

– Плясать, увы, не умею, – ответил Шулер. – Я лучше спою самую веселую песню, какую только знаю.

И он запел, точно попадая в мелодию:

– Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут, и жизнь легка.

А дальше пошла его импровизация, в которой я играл самую неблагоприятную роль. Я понимал, что Пашка придумывал на ходу, с пылу – с жару. Но получалось складно, хотя и

грубовато, как я написал сначала героическую поэму, которая вскоре превратилась в злую политическую эпиграмму на друга. Причем, Альтшуллер не стеснялся в использовании грубых диалектных словечек.

– Циник, – сказал я ему. – И диссидент!

– В точку, брат! – засмеялся Шулер. – Ща за портвейшском стоняю! Отметим воскрешение Лазаря!

– Это я – Лазарь? На что ты намекаешь?

– На выздоровление после тяжелой болезни. Ты же бросил, наконец, писать стихи для стенгазет и к красным дням календаря? Или эта болезнь уже зашла в хроническую фазу и неизлечима? Тогда оривидерчи, Рома... Была без радостей любовь, разлука будет без печалей.

– Паша, не обижай Иосифа! – надула губки Моргуша и часто-часто заморгала ресницами. – Я не хочу оплакивать смерть поэта... В моем романе Онегин и Ленский примиряются перед роковым выстрелом.

Паша с улыбкой Сионского мудреца смотрел на то, как я рвал на мелкие кусочки свою «героическую поэму».

– Судьба поэта жертв искупительных просит, – сказал он.

– Не вкладывайте персты в язвы моя! – взмолился я, обиженный и на друга, и на Марусю.

– Марго, ты слышишь, как ветер возвращается на круги своя! У-у-у...

– Слышу, Вечный ученик! Слышу...

Я хотел ответить друзьям поязвительнее, укусить за самое

больное место, но только хлопнул дверью. Спиной я услышал:

– Вернись, Иосиф, я все прощу!

Это был противный голос моего друга Пашки. Я ненавижу его. Я уходил к нашему лукоморью, к Черному омуту на берегу Свапы. Но я точно знал, что ветер рано или поздно все равно вернется на круги своя.

Я злился, что я так и не лягнул Шулера на прощанье. Пускай ослиные копыта знает!

...Над старой Слободой уже взошла луна. Серебряная дорожка Силены бежала к нашему заветному месту. К глубокой чистой воде. Вода меня всегда успокаивала. И будто очищала душу, когда я на нее смотрел долго и задумчиво.

Я шел быстро, а луна по-свойски подсвечивала мне ухабистую тропинку. Но у обрыва, где по преданию, утонул Маркел Шнурок, палач партизанского командира, не заметил какой-то притаившейся в кустах коряги – споткнулся. И чуть не полетел в тот самый омут, который в детстве мы заглядывали, леденея душой от страха.

Чтобы заглушить обиду в душе, боль в ноге, которая застыла после встречи с корягой, я стал вслух читать стихи. О луне. Их любил Пашка. (Может быть, он их и сочинил – с него станется).

Светила на ночном небосклоне луна, звучали у нашего лукоморья Пашкины стихи... Это уже было, мне все это уже

снилось? Почему так все знакомо? И так тревожно на душе?

Во всем виновата полная луна. Полнолуние – время гениев и сумасшедших.

Такой же светлой весенней ночью умер и Фока Лукич, сильно сдавший после выхода из психиатрической больницы. Пашка не отходил от постели умирающего всю страстную неделю. А когда Фока Лукич умер, он пришел к нам в дом со своим наследством – «бурдовой тетрадкой» отца, которую тот держал у себя под подушкой.

– Вот, Захарушка, и помер батя...

Он не плакал. Он прижимал к груди заветную тетрадь, раскрыть тайну которой я мечтал еще в детстве.

– Ты поплачь, поплачь, Пашенька... – прижала его к теплой груди моя бабушка Дарья. – Сиротинушка ты моя горемычная...

Он не заплакал. Протянул мне тетрадь. И сказал:

– Вот, возьми...

– Что это? – спросил я, хотя точно знал, «что это».

– «Записки мертвого пса». Он просил передать...

– Почему – мне?

– Не тебе конкретно, – ответил Павел. – Тому, кто сможет этой тетрадью распорядится, не навредив ни себе, ни людям. Главное, как любил повторять отец, не умножать вселенской скорби.

Я помолчал. Потом спросил шепотом:

– Думаешь, я смогу?

– Думаю, сможешь.

Моя добрая бабушка Дарья принесла нам по рюмке вишневой наливки, сказала:

– Помяните раба Божьего Фоку...

Мы выпили, не чокаясь. Поставили пустые рюмки на круглый стол, по которому бежала лунная серебряная дорожка.

– Полнолуние... – прошептал я, не зажигая свет.

– Луна... – вздохнул Пашка.

Тишина давила на уши. Где-то под полом скребла мышь. В углу всхлипывала бабушка. В комнате пахло валерьянкой и неизбывной грустью. Ночное светило висело прямо над старой яблоней, где зимой сорок второго партизаны закопали обгоревшие трупы моих уже далеких родственников – Пармена и Параши.

Павел, не отрывая немигающего взгляда от бледного лунного диска, прочел наизусть:

*– Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек...*

– Кто автор? Спросил я.

– Автора не знаю, ответил он. – Знаю только, что это мысли из Екклезиаста.

В тот же день эту мысль я встретил в «Записках мертвого пса», в «бурдовой тетради» Фоки Лукича, которую я читал всю ночь напролёт. Страницы «Библии от Фоки» были пронумерованы. Но восемнадцать страниц не хватало. Они были аккуратно вырезаны бритвой. Причём, вырезавший их не позаботился о плавном переходе. Чувствовался какой-то смысловой скачок в тексте:

«...Я слушал Посланца, затаив дыхание и мысленно соглашался с ним. А человек в сером на мой немой вопрос, прочитав его в моих глазах, сказал: «Что было, то и будет; и что делать, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но ЭТО, поверь мне, лекарь, проклятому бессмертием, было уже в веках, бывших прежде нас»

Глава 13

АУРА¹¹ БОЛЕЗНЕННОГО ВОСТОРГА¹²

Из тетради доктора Лукича

¹¹ Аура (гр. aura – дуновение ветерка) – особое состояние, предшествующее приступам эпилепсии или истерии.

¹² Большой эпилептический припадок часто начинается с особых предвестников (ауры) в виде внезапно возникающей тошноты, безотчетного страха или чувства восторга, обонятельных или зрительных галлюцинаций, ощущения изменений пропорций тела, проливного пота и др.

Красная Слобода.

Сельская больница.

12 мая 1932г.

19 час.37 мин.

Всё как всегда. Фельдшер Сыдорук пьян, как свинья. Спит в кочегарке. В изоляторе стонет больной. Есть подозрение на тиф. Лекарств решительно никаких.

К часу дня на прием приходила «слободская народная власть» – Петр Ефимович Карагодин. Я спросил пациента, как он себя чувствует. Сказал, что на пленуме Краснотырского райкома его хвалили за выполнение плана по раскулачиванию кулаков и подкулачников и общие темпы коллективизации, но покритиковали за недостаточную антирелигиозную работу.

«Религиозный бред слободского попа о.Василия», по его словам, мешает построению светлого будущего. Я спросил, почему. На мой вопрос председатель колхоза, комбеда и партгячейки (в одном лице) ответил, что «попы считают любую власть от Бога, кроме власти антихриста». Значит, косвенно признает, что новая власть – от Антихриста. Да и себе Петр Ефимович выдумал нелепую и страшную должность – главантидер. То бишь – главный антихрист деревни. Слободчане боятся даже произносить эту абракадабру¹³ бояться.

¹³ Абракадабра – (от гр. Abrakos обозначение божества + др.евр. dabar слово) – таинственное слово, которому приписывалось чудодейственная сила черной магии (прим. Ф.Л.Альтшуллера).

Его история болезни (как, впрочем, и любого другого человека) есть его история жизни. Именно поэтому расспрашиваю его о делах: чем жил, как прожил ниспосланные ему дни после нашей последней встрече в кабинете врача. Зная скрытный его характер, прибегаю к методике гипнотерапии профессора Гельгарда, чтобы раскрепостить его подсознание.

За несколько минут из угрюмого, застегнутого на все пуговицы человека, получается весьма неплохой рассказчик. Как меня когда-то учили в военно-медицинской академии, буду самым тщательным образом записывать его ауру, состояние больного, предшествующее пароксизму, то есть эпилептическому припадку.

Аура сегодняшнего дня меня как лечащего врача настораживает и огорчает. Болезнь явно прогрессирует, захватывая и поражая все новые и новые участки коры головного мозга. Явно доминирует аура беспричинного восторга у пациента. Пафосная убогость его разговорной речи, когда он говорит о созданном им колхозе «Безбожник», «темпах коллективизации», «обострении классовой борьбы в Слободе», весьма и весьма тревожный симптом. Ему срочно необходимы психотропные препараты. Но нет даже противосудорожных медикаментов.

Восторг, пафос, пустозвонная фраза – всё это в равной мере определяет в ауре неизбежное приближение кризиса болезни. Будем надеяться, что её не осложнит шизофрения с ее

нервно-психическим возбуждением и полным отторжением личности от исторически сложившихся форм труда и социально-бытового уклада жизни.

С особым восторгом Петр Ефимович рассказывал мне о том, как расстреливал кулаков холостыми патронами. По его словам, сказанным в крайне возбужденном состоянии, «так он шутовал со слободской контрреволюцией». С восторгом нарисовал мне следующую картину: «бабы кулаков воют, волосы на голове рвут, детишки ревямя ревут – страсть, как смешно»... Со двора вывели корову, двух телят, погрузили на телегу поросят и птицу. Хозяин за вилы. Тогда Петр Ефимович поставил «защитника мелкобуржуазной собственности» к плетню. Сам отошел шагов на десять, снял с плеча винтовку. Слободчанин у плетня губами шевелит беззвучно – молитву читает.

Дальше пишу парафразом¹⁴.

– Дочитал, спрашиваю. Молчит. Значит, дочитал, говорю. Затвор передернул – бах холостым. Дым, горелым порохом воняет. А пульки-то в патроне нету... Холостой! Да этот пень не ведает о том. Свалился под плетень. И лежит, ножки поджав. Я ему: вставай, вставай, контра! – не придуривайся. А он возьми и окочурься взаправду. От страха паразит сдох, шоб мне и тут нагадить своей вонючей смертью.

Глаза его блестели, будто Петр Ефимович выпил на радостях. Лицо озаряла счастливая улыбка.

¹⁴ Парафраз(а) – пересказ близкий к тексту.

– Туда гаду и дорога!..

Он вскочил от избытка энергии, потом торопливо сел на стул, не спуская с меня восторженных глаз.

– А женка евоная на коленки упала. Молила о пощаде... Детишки к ней льнуть. Рев стоит, как в сущем аду. А меня хохот разбирает, хохот за жабры береть. Патроны-то у меня – холостые! Вот дураки так дураки у нас в Слободе. Других таких дурней по всему свету не сыщешь...

Лицо его резко побледнело, на лбу выступила испарина, руки затряслись.

Я снова повторил свой вопрос: как вы себя чувствуете? Не было ли недавно большого или малого эпилептического припадка? От прямого ответа больной уклонился. Сказал, что испытывает радость за честно выполненный революционный долг.

Страх сменяет чувство эйфории. Он чувствует радость даже от предстоящих сражений с врагами революции и обездоленного народа.

Потом признался, что восторг, как правило, к полуночи проходит и его сменяет чувство безотчетного страха. Потом подступает тошнота. После рвоты начинается припадок.

Типичная клиническая картина пароксизмов эпилепсии. Во время глубоких прошлых припадков больной не воспринимал окружающее, и теперь содержание ауры не всегда сохраняется в его памяти.

У больного Карагодина П.Е. 1884 года рождения, возни-

кает один и тот же, присущий только ему тип ауры, – сначала слуховая галлюцинация воя собаки, а затем и зрительная с «появлением черного пса».

Пациенту ему требуется непрерывное лечение. В течение долгих лет. А в бывшей земской больнице Слободы, несмотря на торжественные заверения народной власти, нет даже элементарных противосудорожных средств. И вообще нет никаких лекарств. Лежат два извещения с железнодорожной станции Дрюгино (одно повторное), пришедшие по почте еще в прошлом месяце. Меня уведомляют, что облздавотдел наркомата в адрес слободской больницы отгрузил медикаменты, шприцы и элементарное оборудование. Но как его получить? В больнице лошади нет. Только вечно пьяный фельдшер Сыдорук.

Я попросил срочной помощи в привозе у Петра Ефимовича. Дайте, мол, комбедовскую лошадь, и я привезу со станции ящик с медикаментами.

Он ответил, что завтра сам едет на станцию встречать товарищей Богдановича и Котова. Секретарь райкома и начальник НКВД едут к нам из Красной Тыры проверить «состояние работы по борьбе с религиозными предрассудками». Обещал взять и меня с собой.

К концу нашей встречи у пациента обильно пошла изо рта слюна.

Он без церемоний сплюнул на пол кабинета. И так шумно высморкался, что разбудил пьяного фельдшера Сыдорука.

Разбуженный фельдшер слободское начальство с просо-
нья не признал. Начал материть моего пациента и называть
его, наплевавшего на пол «покоя», «гидрой революции». В
результате получил от пациента в морду и упал под стол, по-
терев последнее сознание.

Больной при этом находился в крайне возбужденном со-
стоянии. Наблюдал патологические отклонения в социаль-
ном поведении моего пациента.

При запущенности его болезни, полном нежелании се-
рьезно лечиться, это, считаю, вполне объяснимым развитием
всей клинической картины. С изменениями в худшую сто-
рону.

Глава 14

ЗАКОЛОДЕННЫЕ МЕСТА

Реконструкция событий и фактов, почерпнутых И. К.Захаровым из тетради Ф.Л.Альтшуллера

Под большой праздник святой Троицы в урочище Пу-
стошь Корень, что раскинулось западнее железорудного кар-
ьерьера Аномалии, случилась страшная гроза. Край этот,
где чрево земли томилось созревшим бременем железа, еще
с седых времен княгини Ольги, дурную славу снискал. Мо-
нахи здешнего Ольговского монастыря, кроме молитв, знали
ворожбу, колдовство и вообще слыли в округе чернокниж-

никами и чародеями. Это они, были убеждены жители Слободы, люди не столько набожные, сколь суеверные, напустили на людей внезапный мор, выделявали всякие чудеса с природой – черно «шутковали» с людьми, превращаясь то в коз, то в свиней. Но больше всего боялись живущие на Аномалии оборотня, ужасного чёрного пса, прожигавшего своими дьявольскими глазами сердца повстречавшихся ему людей.

Аномальная зона давала о себе знать и другими сатанинскими страстями. Случалось, что земля здесь гудела, будто стонала голосами мучающихся в преисподней грешников, и тряслась, морщинами-трещинами. Рыжая маслянистая вода вдруг заливала колодцы, а иногда, горячая, как в бане, парила из глубины земли, будто вырывалась из адского котла. А то в морозном январе вдруг гремел гром и извилистыми слепящими глаз молниями пронизывали стылое зимнее небо. Бывало, что на аномалии в самую сенокосную пору шел неведомо откуда пушистый снег... Чертовщина – да и только.

Местный суеверный люд предпочитал эти заколоденные места обходить за двадцать верст с гаком – ноги убьёшь, зато сам жив останешься. А вот пришлые странники, случалось, пропадали. Был человек – и нету. Как в воду канул... Находились и такие, кто называл себя «очевидцем». Они-то и рассказывали, что из чащи вылетал огромный черный пёс и пожирал бедных путников, высасывая из них их заблудшие души.

В словах этих просвещенные люди находили свое объяснение.

Когда в тамошние края приходил глад, и люди убивали собак, чтобы съесть их, псы – ярее волков от голода – сбивались в стаи, уходили в леса и становились зверем коварным, хитрым и безжалостным ко всему живому и беззащитному. Умные волки предпочитали не связываться с псиними стаями – одичавшие и опьяненные безнаказанностью собаки рвали на части всякого, кто вставал на их пути – зверя ли, человека, врага или друга. Псам было едино.

Старая монастырская рукописная летопись утверждала, что еще в древние времена тут на отбившихся от племени людей нападали одичавшие псы. «...И пожирали людей, аки гиены огненные».

Настоятель слободской церкви Успения Пресвятой Богородицы отец Василий правил службу, служил молебны, проповедовал Слово Божие прихожанам, по привычке и доброй традиции ходившим в храм Божий уже и после того, как в Слободу пришла советская власть. Над хатой комбеда, бывшей церковной сторожкой, теперь трепыхался на ветру кумачовый лозунг: «Свобода. Равенство. Братство. Смерть врагам коллективизации и социализма в Слободе!».

После того, как Петр Ефимович надумал заменить христианские имена своих колхозников «Безбожника» на порядковые номера, отец Василий сказал прихожанам:

– Сожрет сперва имя христианское, от Бога, а затем и вас

самих этот падший ангел... Начало зла, как известно, положил высший ангел, сотворенный Богом, дерзко вышедший из послушания всеблагой воле Бога и ставший Дьяволом. Он, этот пес, засевающий ныне в наших ожесточенных сердцах, и внушает нам грех, неустанно толкает к нему. Сами же этого пса хотели. Сами его над собой поставили. Своей свободной волею.

Кто-то слабо возразил:

– Зачем нам, батюшка, свобода такая, коль мы её по уму распорядиться не можем?..

Отец Василий, священник в третьем колене, мужик физически крепкий и по годам мудрый, почесал расчесанную на протор седящую бороду, сказал басовито:

– Первая причина зла – в свободе человека. Но наша свобода воли – отпечаток Божественного подобия. Этот дар Божий, а не дар нынешней власти, повесившей тряпку с этим словом на своей управе. Ведь человеческим законом можно высвободить из вас все зло, что таилось на самом дне души вашей. Зло для братоубийства, черную ненависть зависти для самых тяжких смертных грехов. Свобода, дар Божий, поднимает человека выше всех существ мира. А дар Сатаны – даже Добро направлять ко злу и во имя зла. Бог создал человека и оставил ему свободный выбор. Вы выбрали то, что выбрали... А этот выбор – не от Бога.

Начиная наступление на идеологическом фронте, власть

прежде всего позаботилась о пятой колонне. Кто-то, не глупее самого Сатаны, додумался политизировать даже само народное сознание, заменив Заповеди Божеские революционным законом. Перевернув с ног на голову оценочную нравственную шкалу, власть окончательно запутала слободский народ, «что такое хорошо и что такое плохо». Всеобщий политический донос становился «революционной и общественной необходимостью», некой религией Слободы.

...На другой же день об этой «Васильевской проповеди» от слободских иудушек узнал Петр Ефимович. Он же, отбросив метафоричность высказывания слободского попа, истолковав слова о «пришедшей власти сатаны» в прямом – контрреволюционном – политическом смысле, переслал донос на отца Василия дальше. «По инстанции», как теперь говорили: товарищу Котову в Краснотырский отдел НКВД. Тот доложил «обстановку в религиозно-мятежной Слободе» на бюро Краснотырского обкома партии и «лично товарищу Богдановичу», снабдив её своими «конструктивными предложениями».

– Где, где поповский бунт? – строго спросил Богданович на заседании бюро.

– В аномальной зоне, товарищ Богданович, – уточнил Котов.

– На то она и аномальная... – постукивая карандашом по столу, сказал партийный секретарь. – Будем делать ее нор-

мальной. Подвластной нам, а не попам. Революционными, радикальными методами.

После такой предтечи судьба отца Василия была предрешена.

... Чего только не прибавила людская молва к дурной славе этих глухотных ненормальных мест за века, но такой страсти, как во времена свободы и всеобщего братства трудящегося народа, давненько не видели...

И снова страх поселился в сердцах слободчан, слышавших теперь в подлунном вое невидимой собаки, считавшемся на Аномалии верным предвестником чей-то очередной насильственной смерти.

Ветер крутил и крутил опавшую листву, сбивая ее на круги своя... Все смешалось на Аномалии в этом адском бурене – и Добро, и Зло. Зло, казалось, стало даже необходимее добра. Эдакое «необходимое зло». И не было ему, казалось, ни конца, ни края...

Будто веками копивший силу в этих краях Черный пес из народной легенды, прозванный Нечистым, вдруг сорвался со своей небесной привязи – и пошел куролесить да безобразничать по заколоденным глухотным местам. Он неистово тряс дома и души их обитателей, рвал на куски родные связи и, обхватив за комель, как пьяный мужик непокладистую бабу, валил вековые деревья, что корнями веками вращали в родную землю. Казалось, что даже смерть не в силах разлу-

читать этих великанов с землей-кормилицей. Но вот чуть только подрубили корни, живьем содрали вековую кору с комеля – и стали подсыхать, умирать, стоя, деревья, которых и при татарах мор не брал.

Глава 15

ГРОЗА В ПУСТОШЬ-КОРЕНИ

Из тетради доктора Лукича

Я уже был не рад, что напросился с Петром Ефимовичем на станцию за ящиком с медикаментами и препаратами. Карагодин был угрюм, зол и неразговорчив всю долгую дорогу до привокзальной площади.

Поезд опоздал на час. Мой возница заволновался – успеем ли засветло добраться до дома. Перекусили краюхой хлеба и бутылкой утреннего молока от одной из загнанной в «Безбожник» посадских коров.

И только к четырем часам после полудня встретили «дорогих товарищей из райцентра» – Богдановича и Котова. Погрузили в телегу мой ящик и отправились восвояси.

Дорога была не близкой, лошади, подкрепившись овсом на вокзальной площади, шли бодро. Богданович, подоткнув под себя побольше свежего духмяного сена, влюбленными глазами поэта любовался красотой урочища.

– А ведь это – Пустошь Корень, – задумчиво рассуждал он как бы с самим собой, полулежа на своей комфортной под-

стилке. – Пустой корень, значит. Есть тут свой смысл, своя этимология?

– Вы, Яков Сергеич, филфак университета в свое время окончили, – со своего места отозвался Котов в энкавэдэшной форме с ромбиками и с желтой кобурой из свиной кожи на широком ремне. – Вам, товарищ секретарь, виднее про смысл слов всяких...

– Э-хе-хо... – вздохнул Богданович и подложил руки под голову, чтобы было романтичнее вспоминать «былое и думы». – Я, товарищи, мог бы неплохим профессором филологии стать. Честное слово. Фольклором, этимологией слов страстно был увлечен. Да судьба народа на весах фортуны научные изыскания перетянула...

Он прикусил зубами травинку и продолжил:

– А сколько вокруг нас, товарищи мои дорогие, сказочного и загадочного... До такой степени чудесного, что не знаешь, где заканчивается легенда и начинается реальная жизнь.

Яков Сергеевич перекусил травинку и сплюнул за грядку телеги, прямо под ноги лошадей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.